

РОИ ХЕН



Рои Хен Души

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65387682
Души: Роман / Рои Хен: Фантом Пресс; Москва; 2021
ISBN 978-5-86471-878-0*

Аннотация

Поначалу не догадаться, что Гриша, молчаливый человек, живущий с мамой в эмигрантской квартире в Яфо, на самом деле – странник времени. Его душа скитается из тела в тело, из века в век на протяжении 400 лет: из дремучего польского местечка – в венецианское гетто, оттуда на еврейское кладбище в Марокко и через немецкий концлагерь – в современный Израиль. Будто “вечный жид”, бродящий по миру в своих спорах с Богом, Гриша, самый правдивый в мире лжец, не находит покоя. То ли из-за совершенного когда-то преступления, то ли в поисках утерянной любви, а может, и просто по случайности. Его мать старается объяснить эти рассказы о “перерождении” реальными событиями из его детства. “Жизнь одна! – спорит она. – Все остальное метафора”. Герои романа ведут беспощадную битву за сердце читателя. Кто победит – душа или тело, фантазия или реальность? Жизнь – это подарок или наказание? И кто же та самая душа-близнец, которую Гриша ищет уже четыреста лет?

“Души” – роман-карнавал, смешной и страстный, в котором смешались времена и стили. Это книга о тонкости души человеческой, об отчаянной жажде найти смысл ее существования или хотя бы одну душу, которая вас поймет.

Содержание

דאָס לעבן	9
Наоборот	9
Страх смерти	25
Театр на один день	41
Гой	57
Ночь	68
Конец детства	73
Простите...	81
Конец ознакомительного фрагмента.	107

Рои Хен

*Посвящается
матери,
сыну
и святому духу*

Души дорогие,

даже не знаю, с чего вдруг я так напрягся... Если хотите, могу прямо сейчас умереть. Тут. Перед вами. Умереть – пустяк, смерть всегда все та же смерть. Это жизнь меняется.

-йилгнА Насколько точно слово “жизнь” на иврите: חַיִּים. ское Life или идишское לעבן אסם определяются в словаре как “сущ., ед., собир.”, тогда как русское *Жизнь* или итальянское *La vita*, к примеру, определяются как “жен., ед.”, однако ивритское חַיִּים, да, Хаим – “муж., мн.”, и этим все сказано, не так ли? Лехáим!¹

Скажите, я пустозвон? Да ладно, это еще не самый большой мой грех, я еще и лгун. Но простите! Когда я лгу? Когда можно и даже нужно. Я утверждаю совершенно непреложно: нет человека, который рассказал бы о своем детстве и не наврал. Первая препона – память. Кто может помнить, было ли в нашем дворе десять надгробий или тридцать? Или заглотила ли она с упоением устрицу или какую другую пакость? И не помогут личные дневники, не помогут и газеты с фото-

¹ За жизнь! (иврит)

графиями. Подобно блохам, словно образующимся из ничего, вымыслы всегда будут наполнять рассказы о детстве каждого из нас. Но это не повод для тревог – если лжец талантлив, рассказ станет только лучше. Во времена моего детства говорили: *Зол зайн а лигн, аби с'шайнт*. Пусть будет ложь, но чтоб она сияла.

Вторая препона, ввергающая нас в грех лжи, заключается в нашем стремлении приблизить рассказ к внутреннему миру слушателя. Слабость, проистекающая, по моему скромному мнению, из альтруизма. Есть такие слушатели, что брось им самый простой факт, как, например, что есть город, построенный на воде, и они скажут, что это грубая ложь. В конце концов, не то чтобы это досаждало мне – прежде всего, потому, что у меня нет слушателей. Может быть, теперь у меня появятся читатели. Я немало совершил в жизни, но книгу пока что не написал. И, приступая сейчас к написанию книги, пожелаю успеха себе, то есть Гецу, Гедалье, Джимуль и...

Кто все эти люди?

Прошу прощения?! Кто-то действительно задал этот вопрос? Вы? Вон из книги! Ишь, дотошный какой... Будто я прямо сейчас, в прологе, открою всем, кто есть кто. Души дорогие, во имя старого романа, в котором есть место запутанности сюжета и постепенному раскрытию тайн, – подвергнем наглеца ostracism. Ибо есть еще место и паузам, мгновениям молчания. О мгновения тишины... О них мне тоже есть что сказать.

В книгах, чтобы найти немного тишины, необходимы слова: она умолкла, он прикусил язык, гомон внезапно утих, воцарилось молчание, они не раскрывали рта... Мне это по душе. Я, чтоб вы поняли, однажды отвесил отцу пощечину за слишком затянувшуюся паузу. Не выношу безмолвия! Если тебе нечего сказать – умри! Я же полон слов. Даже когда молчу, я беззвучно говорю. Бесконечный внутренний монолог продолжается, даже когда я ем, моюсь или, простите, трогаю себя.

Ну, вернемся к детству. Детство забывается, и только в старости воспоминания о нем возвращаются к нам с полной отчетливостью. Я же, души мои, что поделать, уже стар, мне почти сорок. И не сумею написать на языке далекого моего детства. Против собственной воли я вынужденно буду вставлять такие выражения, как “против собственной воли”, и иностранные слова для обозначения времени, места, безыскусности... нет, не безыскусности... простоты... нет... чистого и прекрасного неведения детских лет. Да, именно неведения, и именно чистого, и именно прекрасного. В детстве невелико пространство в маленьких наших черепушках, но каждое новое слово принимается с почестями, достойными принцев. Теперь же слова проталкиваются внутрь наших голов, как набиваются нелегальные иммигранты в тесную квартиру.

К черту, я устал. Я солгал, сказав, что говорю круглые сутки напролет. Когда сплю, я молчу, но и это не железное пра-

вило. Порой я сплю и говорю. Что говорю? Произношу речь. Шпион из меня уже не выйдет. Но бывают благословенные ночи, без снов и кошмаров. Ночи безмятежные как смерть. По ним я страстно томлюсь.

Сожалею, но я только проснулся и уже выжат как лимон. И мне жарко. Как же жарко в этой сраной стране. Я зажгу сигарету, хорошо, души мои? Нелегко писать книгу. Тяжело неумоготу. Страшно и ужасно. Да еще роман. В пяти частях. Исторический роман. Ну да, именно так!

Важное предостережение: вход воспрещен историкам, антропологам, теологам, лингвистам и портным. Все они обнаружат в моей книге детали, которые покажутся им досадными ошибками и неприемлемым извращением фактов. Они заблуждаются. Это рассказ о моей жизни, и, хоть она и растянулась на четыре столетия, нельзя изучать по ней ни человеческую историю, ни пертурбации общественного развития, ни политику, ни культуру, ни моду, разве что вклинятся в текст, по счастливой случайности, какая-нибудь старая мелодия, забытый рецепт или обкатанный до блеска камешек. Да, камень в этой истории будет, вне всякого сомнения.

*Хорбица,
Польско-Литовское королевство,
начало XVII века*

Наоборот

Сразу хочу успокоить вас, души дорогие, я вовсе не намерен разворачивать перед вами всю историю моей жизни. Напротив, расскажу лишь об одном дне – том дне, когда закончилось мое детство.

Рассказ о детстве всегда смахивает на сказку, но мое детство сказкой и было. Меж двух больших лип скособочилась наша деревянная избушка. Большую часть двора занимали надгробия, но под ними никто не лежал. Они дожидались, когда отец высечет на них имя очередного усопшего.

Избушка стояла на околице местечка Хорбица. Историки – чтоб им пусто было – конечно, заявят, что Хорбицы отродясь не существовало. Но ежели так, умники вы этикие, где же я тогда родился, а? Нечего вам на это ответить.

² Жизнь (дос лебн, идиш).

Конечно, я не смогу указать широту и долготу, на которых находится Хорбица, – в хедере я учил Тору, а не географию, – но могу утверждать, что это где-то на просторах Речи Посполитой, в трех днях езды на лошади от местечка Шварце Тумэ и в пешей доступности от деревни Дыровка... Что? Не верите?! Все это подлинные названия, сами можете проверить! Господи, и откуда в людях эта упертость, когда речь заходит о фактах? Вы что, уже планируете экскурсию по местам моего детства? Нет? Тогда позвольте мне продолжить, будьте так любезны.

Когда в других домах веселились да радовались, празднуя Пурим, в нашем домишке бушевала буря. Я таращился на родителей, кружившихся, точно рвущиеся в бой петухи... Секундочку. Прошу прощения. Оказывается, не так уж это просто – рассказывать.

Всякий раз, когда я принимаюсь делиться своими детскими воспоминаниями о жизни в Хорбице семнадцатого века, меня принимаются высмеивать, а то и просто стороной обходят. Однажды даже поколотили. Ой, души, как же жестоко меня тогда пинали, даже руку сломали. А посему, из соображений безопасности, я предпочту вести рассказ от третьего лица. В некотором смысле это будет только справедливо: огромная дистанция отделяет меня от того ребенка, которым я был когда-то. Мальчик Гец, так меня звали, куда дальше от меня, чем полные незнакомцы. Глядишь, чужие люди и смогут меня вынести, тогда как Гец способен лишь погружаться

в разочарование, ведь он возлагал надежды на себя, то есть на меня.

Итак, в тысяча шестисотом с хвостиком году, в хлипкой лачуге на околице Хорбицы, мальчик Гец таращился на родителей, кружившихся, точно рвущиеся в бой петухи. Мать – мамэ Малкеле – вздергивала свой нос картошкой, наскაკивая на длинный кривой нос отца – татэ Переца. Господь благословил Малкеле волосами цвета яичного желтка, светлыми бровями и синими глазами, в которых ничуть не отражалась ее угольно-черная душа. Перец, в отличие от нее, так и пылал – от рыжей бороды и до медной кожи, словно раскаленной от огня, будто его передержали в печи материнской утробы.

Татэ Перец визжал своим бабьим голосом:

– Зог мир бекейрем, Малкеле, их фрэг дир дос лецте мол: ву из эс?!

Ой, мамэ-лошн!³ Ах, если бы я только мог описать на идише эту часть моего детства. Увы, от идиша остался у меня лишь едва ощутимый привкус на языке. С радостью передал бы я его, да хоть с поцелуем, но кто станет со мной целоваться, а, души?

Итак, татэ Перец визжал своим бабьим голосом:

– Отвечай мне как на духу, Малкеле, последний раз тебя спрашиваю: где она?

В поисках бритвы он уже перевернул в доме все, до чего

³ Родной язык (*идиш*).

только смог дотянуться. Малкеле следила за действиями мужа, пока наконец не взорвалась:

– Разве не сказано в Писании: “Не стригите головы вашей кругом и не порти...”⁴

Но ей не пришлось завершить цитату.

– Ну-ка, цыц! Тоже мне, Писание она излагает! – с издевкой воскликнул Перец. – Тебе бы следовало родиться мужчиной!

– А тебе – женщиной! – И мамэ вздернула подбородок.

На земляном полу рядом с Гецем свернулась в клубок семилетняя Гитл. Пальцы ее заплетали косу, с губ срывалось невнятное “др-др-др, гр-гр-гр”. Если Гец был поглощен наблюдением за битвой гигантов, то Гитл будто пребывала в ином мире. Закончив заплетать халу косы, она обнажила розовые блестящие беззубые десны, сунула косу в рот и с вождением принялась жевать ее.

– Где эта проклятая бритва? – Перец с силой дернул себя за бороду, лишь чудом не вырвав ее. – Если я сей момент не отыщу ее, то пальцами повырываю себе всю бороду, волосок за волоском, клянусь тебе!

– Все мужчины местечка к празднику расчесывают бороды, – пожаловалась Малкеле, – и лишь мой муж хочет свою бороду выдрать.

– Заповедь праздника Пурим – умножать веселье, – бурк-

⁴ Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей (Левит, 19:27, синодальный перевод).

нул Перец.

– Разве нельзя умножать веселье без греха?

– Изображать царицу Эстер не грех. Как можно вообразить себе свиток Эстер без Эстер? Ясное дело, никак.

– На прошлый Пурим Цви-Гирш нарядился царицей Эстер, и помнишь, что он тогда сделал? Да просто обмотал бороду платком, а всем сказал, что царица зубами мается.

– Как по мне, Цви-Гирш хоть всю рожу может себе обмотать! – Перец схватил деревянный короб и высыпал из него сушеные грибы.

– С чего это бритве прятаться в грибах? – всплеснула руками Малкеле.

Снаружи донеслось страшное мычание. Корова отходила. Ее розовый мягкий язык, в который Гецу так часто хотелось ткнуть пальцем, был весь в красных язвах. Ноги отказывали ей, глаза запали в глазницы, шкура обтягивала кости.

– Гец, хочешь попробовать? – Гитл протянула брату обсюнявленную косу.

Гец отбросил ее с отвращением.

– Как работать, так его нет, а игры играть – он тут как тут, – пожаловалась Малкеле, обращаясь к кому-то невидимому.

– Это я-то не работаю? – возмутился Перец, тоже адресуясь к слушателю-невидимке. – А откуда же тогда мозоли у меня на руках, если не от молотка, который ее отец оставил мне в наследство!

Перец имел в виду тесало каменотеса, которым он высекал поминальные надписи на надгробиях. Малкеле связала веревкой разбросанный Перцем хворост и начала монолог:

– С тех пор как дело перешло к тебе, евреи, кажется, перестали умирать. Когда мой отец, да будет благословенна память праведника и да истребится имя злодеев, был жив, к нам в очереди выстраивались, чтобы купить надгробную плиту. Однажды даже гой заявился! Да, гои тоже умирают, да смилуется над нами Господь, но тот гой за грехи свои хотел, чтоб на его надгробии высекли черту на черте, крест! А отец отказался – но как отказался? Ты спроси, как он отказался. Так отказался, что под конец они даже обнялись! Люди в трауре, с разбитыми сердцами, спрашивали его: “Реб Ицхок, ты веришь в воскресение мертвых?” А он, бывало, отвечал: “Если уж евреи встают из-за стола после субботнего чолнта⁵, то и из могилы встанут, когда придет срок!” И люди смеялись, люди, только-только потерявшие близких, – смеялись! Вот такой он был, мой отец. А ты что?

– К радости моей, я не твой отец. Я твой муж, к сожалению, – процедил Перец, ползая на четвереньках в поисках бритвы, шурясь и поводя носом, словно принюхиваясь.

Гитл ухватилась слабыми своими пальчиками за кончик голубоватой ткани, проглядывавшей между сваленными у печи поленьями. Заметив ее движение, Гец сноровисто вы-

⁵ Чолнт (*идиши*) – традиционное еврейское субботнее блюдо, обычно из мяса, овощей, крупы, фасоли и яиц в самых разных сочетаниях.

тянул из-под дров сокровище и возгласил:

– Нашел!

Гитл попыталась было протестовать, но никто не услышал ее из-за воплей отца семейства, двумя руками обхватившего голову сына и смачно поцеловавшего его в лоб.

Души дорогие, даже когда я пишу эти строки, я слышу запах его пота, запахи лука и камня, и это амбре приятнее мне аромата мириад благовоний.

Перец исследовал вожденную бритву в тоненьком лучике света, проникавшем снаружи. Солнечные зайчики скакали по стенам, словно светлячки. Подойдя к чану с водой для умывания, он окунул в него лицо, от бороды до бровей. И, став похож на водяного, истекающего влагой, он тихо проговорил:

– Все вон.


– Перец, это грех! – взмолилась его жена и прибегла к последнему своему тайному оружию: – Ради чистой души Ицикла!

Ицикл, вот только его не хватало. Даже теперь, по прошествии четырехсот лет, одно упоминание его имени погружает меня в морок детских страхов. Ицикл вышел из утробы матери раньше Геца и Гитл, но успел провести в мире Пресвятого, да будет благословен, меньше суток. Считается, что всякий, кто провел в этом мире меньше тридцати дней, приравнивается к выкидышу, его положено похоронить в земле без обозначения могилы, и запрещено скорбеть о нем по за-

конам траура, нельзя ни произносить поминальную молитву, ни оплакивать его семь дней, как если бы он и не жил никогда. Души, как так “не жил никогда”, если он плакал? Я же скажу: кто плакал – тот жил.

Об Ицикле больше молчали, чем говорили, а посему мне не оставалось ничего другого, кроме как сплести историю мертвого моего брата из разрозненных нитей слухов, невнятного бормотания, доносившегося словно из сна, и байки, гнавшей прочь сон и рассказанной слепым шляпником Гешлом, еще когда он был просто шляпником, а не слепым.

Умершего младенца, конечно, похоронили тайком, однако жалостливый синагогальный служка открыл скорбящим родителям место могилы – возле тропы, ведущей от пасеки к дубраве. И уже через несколько дней, вопреки всем правилам, на могиле появилось надгробие с высеченной надписью

“Ицикл,  ⁶. Прежде о таком и слыхом не слыхивали – чтобы уменьшительное имя было высечено на надгробной плите. Уменьшительное имя, и более ничего.

Нетрудно догадаться, кто дал “выкидышу” имя. Моего деда по матери звали Ицхак, друзья же называли его Ицикл. И кто с таким умением высек имя на надгробии, всем также было ясно – скорбящий отец, мастер по могильным плитам Перец. Однако вскоре случилось то, что все называли нака-

⁶ Высеченная практически на любом еврейском надгробии аббревиатура традиционного благословения “да будет душа его увязана в узел с живущими” (т. е. с душами праведников, живущими в высших мирах).

занием Небес. Надгробная плита треснула посередке, а под ней оказалась лишь пустая ямка. Ицикл исчез.

Люди верили, что Пресвятой, да будет благословен, преисполнился гневом за совершенное преступление и забрал младенца к себе. Родичи же утверждали, что дикий зверь когтями вырыл тельце младенца из земли. Но тут из Дыровки, близлежащего села, вернулся слепой шляпник Гешл, который еще не был слепым, но уже был шляпником, и рассказ его навевал ужас. В тамошней церкви был выставлен на всеобщее обозрение в открытом гробу младенческий скелет, и верующие прикладывались к его ногам. Священник говорил, что это мощи христианского младенца, умерщвленного евреями, дабы на его крови приготовить пасхальную мацу. Гешл был уверен, что скелет принадлежит не кому иному, как “выкидышу” Малкеле, извлеченному из могилы.

По всей Хорбице кипели страсти. Родственники обвиняли Гешла в болезненных наваждениях и советовали ему съесть горсть ягод рябины, помогающих от лихорадки. Если бы гои поверили, что евреи убили христианского младенца, Хорбицу давно сожгли бы дотла из мести. Гешл не остался в долгу, объясняя, что дыровчане вовсе не винят именно жителей Хорбицы. “Мало, что ли, в округе еврейских местечек, на которые можно возвести кровавый навет? Огонь еще доберется и до Хорбицы, а вы что думали?” – говорил он с гневной убежденностью пророка. Тем временем дела Переца шли все хуже, ибо кто захочет лежать под могильной плитой,

установленной тем, против чьих деяний восстали сами мертвые. Потерявшие близких родственники предпочитали два дня скакать на лошади до ближайшего еврейского местечка, лишь бы не прибегать к услугам Переца.

Ох, души, как легко скатиться в пучину неведения. Ко времени рождения Геца его брат Ицикл был уже два года как мертв, но рассказ Гешла все передавался из уст в уста. И пара ушей, до которых он дошел, принадлежала юному Гецу. История эта перевернула весь мир Геца: неужели кости его брата выставлены в церкви? И если евреи пользуются кровью при выпекании мацы, почему маца не красная? Что ощущают, лобызая ноги скелета? И почему в хорбицкой синагоге не выставляют скелеты в гробах?

Одной ночью Гецу приснился сон, в котором он сам был выставлен в дыровской церкви. Когда гои приблизились и стали рассматривать его, он восстал от оцепенения и закричал: “Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь – один!”⁷ А что же гои? Перепугались до смерти, все как один.

– Ради души Ицикла, – взмолилась Малкеле тем поздним пурымским утром, стоя перед мужем, размахивающим бритвой, – не ради меня, ради Ицикла.

Гец и Гитл знали, что мертвый ребенок был ей дороже живых ее детей.

– Не смей произносить это имя! – выкрикнул гневно Пе-

⁷ “Шма Исраэль” – начало традиционной молитвы, произносимой евреями дважды в день. Эти слова последними должен произнести умирающий.

рец. Одной рукой оттянув бороду, он поднял другую руку с бритвой. – Гец, выведи отсюда женщин, а не то я перережу себе горло.

Неокрепшими руками девятилетнего мальчика Гец повлек за дверь маму и сестру. Шмыгнул своим девятилетним носом и произнес девятилетним голосом:

– Ну, мамэ...

Души дорогие, я сказал “ну” и сказал “мамэ”, однако, как уже было сказано, я оставил попытки разговаривать с вами на идише. Но я постараюсь припомнить и описать свет, озарявший двор тем зимним утром. Такого света, что поделаться, уж нет во всем белом свете.

То был возвышенный свет семнадцатого столетия, не потускневший с того мгновенья, когда Творец сказал: “Да будет”. Когда он сияет, все люди суеются, как муравьи, когда гаснет – замирают, как камни. Свет этот властвовал над работой в полях, торговлей на рынках, над молитвами в синагогах и церквях. Свет, еще не познавший ужаса электричества, не опаленный газовыми фонарями, не соперничающий с лампами накаливания, не ослепленный неоновыми вывесками. Свет, смеявшийся над факелами, что пытались обратить ночь в день. Божественный свет, равно расположенный ко всем, к христианам и евреям, к богатым и бедным. Добрый свет, красивый свет, свет, какого нет больше. Странно, как можно тосковать по свету.

Когда они вышли наружу, Малкеле поспешила к един-

ственной своей союзнице – подыхающей корове. В зимнюю пору домашний скот жил под одной крышей с людьми. Однако наша корова отказывалась входить внутрь, даже из-под палки. Малкеле говорила, что здоровая корова очень чувствительна и должна, глядя вверх, видеть небо, в доме же она задыхается.

Солнце уже стояло высоко, от выпавшего несколькими днями раньше снега не осталось и следа, и воздух, прохладный и чистый, щекотал ноздри. Стайка желтобрюхих синиц всполошилась в ветвях бесплодной яблони, росшей во дворе, в едином порыве взмыла над могильными плитами. Гец прошел под навес, служивший защитой при обтесывании надгробий, и пнул валявшийся на земле колышек. Маленькая Гитл попыталась повторить его движение и едва не упала.

Минутку, души: быть может, вы представляете себе девушку в стиле двадцать первого века, продукт прививок и технологически обработанной пищи, с зубами, белыми от зубной пасты, с промытыми шампунем волосами и ногтями хищного зверя, дочь исполинов с повышенной сознательностью и капризами? Однако Гитл не была такой, вовсе нет. Люди в том столетии были ниже ростом. Что подвигло человеческий род подрасти? Пища? Медицина? Генетика? Если вы спросите меня, то только эго, человеческое “я”, которое, разбухая все больше и больше от столетия к столетию, выпрямило согбенную спину человека, раздвинуло позвонки в

его спинном хребте.

Так или иначе, ростом семилетняя Гитл была не выше молодого подсолнуха. Хрупкое ее тельце словно было сплетено из стеблей, кожа прозрачна, голосок тоненький. Но плакала она громко, “ревом хаззана”⁸, как называл это ее отец, отнюдь не из умиления.

Чтобы заглушить звуки натужного дыхания, по-прежнему доносившиеся из дома, Гец уступил мольбам Гитл “называть ей буквы”, чтобы она могла показывать их на надгробиях. Он сказал “пей” и сказал “нун”, а она, прикусив язычок, указала на буквы пальчиком. Чтение глазами никогда не сравнится с касанием пальцем всех выступов и впадинок на высеченных в камне буквах.

Надгробия с высеченными на них буквами предназначались для бедных. На них была заранее сделана надпись: “пей”-“нун”⁹ – “Здесь покойтся человек чистый и честный” или “женщина достойная и скромная”, хотя Перец и утверждал, что трудненько найти среди них чистых, честных, достойных и скромных. Под этой надписью оставалось место для указания имени покойного и его родственных связей: имярек сын такого-то, такая-то женщина, а также дат рождения и смерти. В нижней части надгробного камня высекались пять букв, которых удостоивается любой еврей, кем бы

⁸ Хаззán – человек, ведущий богослужение в синагоге.

⁹ Принятая на надгробиях аббревиатура ע"נ (“пей”-“нун”) означает ע"נ נמנ (по нитман) – “здесь похоронен” или ע"נ נפ (по нах) – “здесь покойтся”.

-и-он ни был: הַתְּנַצֵּב – “да будет душа его увязана в узел с вущими”. Об этом мечтали все – быть увязанными вместе в единый узел. До пришествия Мессии, конечно.

Единственным евреем, боявшимся пришествия Мессии, был Перец. Только этого ему не хватало, чтоб мертвые воскресли и стали обозревать надгробия, которые он им поставил. Нет сомнения, что жалобы не заставят себя ждать: “Это не то, о чем мы договаривались”, “Буквы не той формы”, “Вензеля не такие”, “Стих из Писания не на том месте”. Конец света станет настоящим концом для мастера по надгробиям.

– Взгляни, Гец, – указала куда-то Гитл. Меж могильных плит лежала на земле синица величиной не больше кулачка девятилетнего ребенка. Спинка ее оливково блестела, черные крылышки были остры, как бритва, однако клюв поник, желтые перышки на грудке были выдраны, а вокруг застывших глаз-бусинок деловито копошились насекомые.

– Она мертвая, – сообщил Гец сестре.

Дети принялись рассматривать тушку. Из дома все еще доносились постанывания их родителя. Гец опустил на колени и вырыл пальцами небольшую могилку. Он отродясь не слыхивал о надгробии, на котором было бы написано: “Здесь похоронена синица”. Или “Здесь похоронен еж или муравей”. Могильный памятник муравью – это рассмешило его. Гитл спросила, отчего он смеется. Он не ответил, потому что не успел он положить синицу на место ее вечного упокое-

ния, как на пороге дома появилась женщина, знакомые черты которой пугали не меньше, чем незнакомые. Когда она приблизилась к детям, Гитл разразилась знаменитым своим ревом хаззана.

– Ша, Гитл, это я, татэ!

Горевшие щеки Переца были испещрены порезами, оставленными тупой бритвой. Без бороды нос выглядел просто огромным. Над голым подбородком шевелились мясистые губы – ну точно две улитки, выползшие из своих ракушек. Каждая черта его казалась порочной и нечистой. Он походил на одну из тех юных, забеременевших в двенадцать лет невест, чьи лица распухали вместе с животами.

– Смешно, правда? – спросил Перец, однако Гитл не желала покидать свое убежище позади одного из надгробий.

Корова издала с места своего лежбища глухой вздох, не предвещавший ничего хорошего.

– Видишь, женщина? – повернулся Перец к жене. – Я сделал это, и небеса не обрушились.

– Ой, – проронила Малкеле. То было знаменитое испокон веков “ой” еврейской матери, то “ой”, что таит в себе целую речь, обвинительное заключение, погребальный плач.

– Я снова выгляжу как юнец, которого тебе просватали. Помнишь юного Переца тогда, под свадебным балдахи...

Она подошла к нему и без всякого предупреждения залепила звонкую пощечину.

– Киндерлах¹⁰, – тихо обратилась она к детям, – забирайте шалахмонес¹¹ и передайте его габбаю¹² синагогального братства. Гец, ты оглох? Вперед! Вы идете одни. Ваш татэ никогда не пойдет, пока выглядит вот так. Даже на чтение свитка Эстер вечером¹³. Мы исполним эту заповедь дома.

В детстве, когда все фибры души трепетны как дым, родители способны возвысить душу ребенка или обрушить ее в прах земной. Выражение обиды, появившееся на лице Переца в тот миг, когда жена дала ему пощечину, навеки запечатлелось в памяти Геца.

– Что вы стоите, не слышали, что сказала вам мать? – произнес Перец надтреснутым голосом. – Ступайте же, ступайте!

Души дорогие, полагаю, что и у вас есть папа и мама. Согласитесь, что речь идет о весьма дисфункциональных субъектах.

¹⁰ Детки (*идиши*).

¹¹ Сладости, которые в Пурим принято приносить друг другу (*идиши*).

¹² Синагогальный староста или казначей (*иврит*).

¹³ Главная заповедь празднования Пурима – публичное чтение Книги Эсфири (по свитку) во время вечерней и утренней молитвы в синагоге.

Страх смерти

Если бы в тот день, четырнадцатого числа месяца адар, над Хорбицей пронесся ангел, он бы наверняка запутался в вервиях дыма, поднимавшихся из печных труб. Все были заняты приготовлениями к празднику. Крики животных мешались с голосами людей. Резник поздравлял: “Гит Пурим!”¹⁴ – и слышал в ответ блеянье; меламед¹⁵ передавал наилучшие пожелания, а ответом ему было мычанье; жена раввина кричала что-то соседке, и ей отвечали кудахтанье куриц, гоготанье гусей и ослиные крики.

Гец и Гитл выглядели как пара низеньких старичков. Она – в праздничном одеянии, доставшемся ей в наследство от двоюродной сестры: плотном льняном платье землистого цвета с длинными рукавами, на котором были вышиты желтые и зеленые цветы, и в завязанном под подбородком красном платке, покрывавшем уложенную вокруг головы косу. Он – в выцветшей рубашке, заправленной в подвязанные тесемкой штаны, с надетым поверх нее черным шерстяным армяком. Голову его покрывала меховая баранья шапка, принадлежавшая еще какому-то прадедушке. Благодаря торчащим в стороны ушам она не съезжала ему на глаза. Голени детей согревались шерстяными обмотками, но ступни про-

¹⁴ Доброго Пурима (*идиши*).

¹⁵ Меламед – учитель в хедере.

низывала стужа, проникавшая от земли сквозь тонкие подметки лыковых лаптей.

Гец гордо нес шалахмонес: два свежих яйца и горсть изюма, завязанные в платок. Два подростка в праздничной одежде, заляпанной пятнами грязи, делили между собой ствол дуба, на котором вырезали ножом имя “Аман”¹⁶. Пляска с взаимными ударами хворостиной, сопровождаемая свистом и диким смехом, привлекла внимание Гитл. Она даже подняла губу, обнажив свои розовые десны, однако Гец поспешил увести ее прочь. Такие ребята, если им взбредет в голову, могут надрать тебе уши до красноты.

У мельницы козел с большими рогами взгромоздился на белую козу. Та переступала ногами под ним и мерно поблевывала. Теплый пар поднимался от совокуплявшихся животных. По завиткам шерсти прошло содрогание.

– Пойдем, Гец. – На сей раз Гитл силой увела его в сторону.

Они побежали, во весь голос распевая грубую песенку о зеленоватой Эстер, которая пи́сала в постель. Песенку, с течением лет исчезнувшую из традиции праздника Пурим. Зеленоватая Эстер была, возможно, намеренно представлена в песенке простой крестьянкой, чтобы каждая еврейка с бледно-зеленым лицом в Хорбице могла поставить себя на ее место и поверить, что и на ней лежит нить милости небес.

¹⁶ Аман – персонаж Книги Эсфири. В еврейской традиции стал символом ненавистника еврейского народа.

Перед припевом Гитл споткнулась о торчащий корень и упала на землю, как могут только семилетние девочки и великие цирковые артисты, – проделав сальто-мортале, словно бросающее вызов самому закону всемирного тяготения. В этот миг одно было ясно: шалахмонес был вверен в правильные руки. Гец остановился над Гитл и стал изучать ущерб от падения. Грязь покрывала праздничное платье, платок слетел с головы, открыв косу, но коса не растрепалась. Вместо того чтобы зайти в своем знаменитом реве хаззана, Гитл возгласила “ши́шкэ” и вскочила на ноги, позабыв об обиде и боли.

Если вы справитесь в словаре, то обнаружите, что “шишкэ” означает шишку, но это не была шишка, это было... это был шишкэ.

В мире, в котором не было игрушечных лавок, сам мир был магазином игрушек. Игра в шишкэ проходила так: облущиваем шишкэ по очереди, чешуйку я, чешуйку ты, и того, кому достается последняя чешуйка, – того Готеню любит больше. Готеню было уменьшительно-ласкательным именованием Бога. Боженька, Божепупсик.

Когда шишкэ уже совсем облысел и оставалось всего четыре чешуйки, Гец с присущей старшему брату хитростью только сделал вид, будто отрывает чешуйку. Так Гитл оторвала четвертую чешуйку, Гец – третью, Гитл – вторую.

– Я выиграл! – закричал Гец. – Готеню любит меня больше.

И Гитл поверила ему, чего уж тут.

Тем временем дети оставили позади почти всю Хорбицу и вышли к богадельне синагогального братства. У богадельни было особое лицо: одно окно-глаз открыто, другое затянуто бельмом досок, которыми его забили, из прорехи в темени вырывались вверх кудри густого дыма, а четыре ступени крыльца высывались наружу, как дразнящий язык.

Под навесом над поленницей потел габбай, отвечавший за сбор средств в пользу бедных, пытаясь выпростать топор, глубоко увязший в колоде. Убогая еврейская версия рассказа о легендарном мече короля Артура.

Заметив маленьких гостей, габбай с облегчением оставил упрямый топор.

– Гит Пурим, киндерлах! – сказал он трескуче-шероховатым голосом.

– Мы принесли шалахмонес, – ответила Гитл, сильно шепелявя сквозь дырку на месте передних зубов.

Хотя убогое подношение и не произвело на габбая большого впечатления, тот рассыпался в фальшивых благодарностях, ущипнув Гитл за впалую щеку. После чего отдернул руку, словно обжегшись.

– Это что, мейдэле? Это щека? Это же лед! И у тебя тоже, йингэле!¹⁷ – Он прихватил тоненький нос Геца и вскричал: – Господи помилуй! Пошли-ка внутрь.

После того как габбай сообщил детям, что им холодно,

¹⁷ Мейдэле – малышка, йингэле – малыш (*идиши*).

им и вправду стало холодно. У Гитл застучали зубы, Геца охватила дрожь.

– Евреи, освободите местечко для детей, они совсем замерзли!

Вокруг костра, на скорую руку разведенного в главном зале богадельни, сгруппировались нищие, больные и странники, нашедшие себе кров на одну ночь, а то и дольше. В Талмуде сказано: “Какой город большой? В котором есть десять бездельников”. Если это так, то Хорбица была настоящим мегаполисом.

Войдя, Гец и Гитл сразу наткнулись на нищего с длинными волосами, который...

Одну минутку, души дорогие. Как можно описывать насельников богадельни, после того как мне, то есть всем нам, всё так испоганили? Всеми этими тягучими романами о богадельнях, изжившими себя рассказами о местечковой жизни, слащавыми до тошноты мюзиклами. Во всех них в главных ролях выступают благородные нищие, разрывающиеся между добром и злом, тогда как на самом деле речь идет о целом мире мимолетных персонажей, разрывающихся между злом и еще бóльшим злом. Только разорванная на части книга может рассказать их историю как следует, только беззвучный мюзикл.

Кстати говоря, тот нищий с длинными волосами мог бы быть звездой в таком беззвучном мюзикле. Стоял бы на одной ноге с идеальным чувством равновесия, загребая рука-

ми по воздуху. Каждые несколько секунд голова его закидывалась бы назад под самым странным углом. И возможно, именно в этот миг и родился бы современный танец.

– Гит Пурим, фрейлех Пурим...¹⁸ – приветствовали детей, и внезапно кто-то выхватил шалахмонес из руки Геца.

Габбай велел дерзкому нищему немедленно вернуть узелок, напомнив, что все шалахмонес предназначены для праздничной трапезы, которая воспоследует только после чтения свитка Эстер.

Кто бы мог подумать, что человек способен проглотить свежее яйцо целиком вместе со скорлупой. Желток протек на бороду нищего, когда тот тут же, даже не озаботившись произнести благословение, проглотил второе яйцо. Изюм, остававшийся в складках платка, он употреблял мало-помалу, зажав его в покрытом волдырями кулаке.

– Ничего не поделаешь, – оправдался перед Гецем габбай, – это наш Иов.

И сегодня, по прошествии четырехсот лет, я помню вызывающий содрогание хруст, с которым перемалывали яичную скорлупу пеньки зубов, уцелевшие во рту нищего Иова.

Кто хочет согреться, должен бороться за место подле огня. Гец похлопал по своей меховой шапке, промокшей по дороге в богадельню, и протиснулся между сидевшими на деревянных нарах. Гитл поспешила пристроиться меж его колен и завороченно глядела на пляшущие языки пламени, пожирав-

¹⁸ Счастливого Пурима, веселого Пурима (*идиши*).

шего сухой хворост. Все устали на нее. Никогда еще не оказывался в этом грязном месте такой бледный ангел, как Гитл. Она раскачивалась вперед-назад, словно молясь или изнемогая от желания срочно сходить по малой нужде, и головы всех несчастных двигались в такт ее движениям.

Гец подтянул ее головной платок, заправив под него уже начавшую расплетаться желтую косу. Казалось, нищие ждали от девочки какого-нибудь фокуса или каких-то особенных слов, а то, может, явит чудо в открытую, но Гитл не сознавала устремленных на нее взглядов.

Время шло, никто ничего не делал, ничего не говорил. К потрескиванию костра примешивались кашель, кряхтенье и звуки отхаркивания мокроты. Глаза Геца слезились от дыма, однако нос его уже свyksя с вонью. Старуха, у которой на подбородке торчали черные волосы, опустилась на колени, подалась вперед и ткнула Гитл в ребра пальцем, однако вместо звонкого смеха, который старуха ожидала услышать, раздался вопль. Нищая разочарованно ухмыльнулась и вернулась на свое место.

В одном из темных закутков начался оживленный разговор.

– Я же тебе объясняю, это дети Переца и Малкеле, это внук Ицхака!

– Это внук Ицхака? Кто бы мог поверить! Иди-ка сюда, пацанчик!

Обычно чужие взрослые называли Геца йингэле, и то, что

его повысили в звании до пацанчика, придало ему смелости – он встал и подошел. Гитл держалась за полу его армяка.

Из кучи тряпья высунулась голова, напоминавшая череп. Прозрачная кожа, желтая как воск, была туго натянута на лысое темя, так и грозя порваться. Над впалыми щеками тускло поблескивали лужицы глаз, ниже топорщились две дырки раздутых ноздрей. В изголовье этого живого трупа лежал камень. Надгробный.

– Подойди ко мне ближе, я не хочу кричать, – прошептал человек, и Гец склонился к его зловонному рту. – Так ты внук Ицхака или как?

– Внук, – ответил Гец так же тихо.

– Святой человек был реб Ицхок, святой! А имя у тебя есть, сынок?

– Гец.

– Гециню, а? Видишь вот это? – Не поднимаясь, человек указал на надгробный камень, служивший ему изголовьем. – Это работа твоего деда.

– Правда? – вымученно восхитился Гец.

– Читать умеешь? Так прочитай!

Нищий закрыл глаза и устроился поудобнее, как ребенок перед сном. Буквы были стершиеся, свет тусклый, но Гец владел тайной чтения на ощупь.

– “Здесь похоронен Элизер, сын Малькиэля, благословенной памяти”, – произнес Гец, скользя по камню пальцем.

– Элизер, сын Малькиэля, благословенной памяти, – ни-

щий подавил усмешку, – это я! Да будет благословенна моя память! Я Лейзер, благословенной памяти! – Глаза его были по-прежнему закрыты, как у детей, убежденных, что если они не видят, то, значит, и их самих не видят.

Гитл потянула брата назад, однако холодная ладонь с острыми ногтями вцепилась в руку Геца, и мальчик замер.

– Когда-то я был богатым человеком, Гецале. Ты же не думаешь, что я так и родился в богадельне? – Закрытые глаза Лейзера, благословенной памяти, чуть приоткрылись тонкой щелочкой. Он говорил словно во сне. – Деньги у меня только что из ушей не сыпались. Я торговал быками из Валахии. Раскормленными, сильными, жутко дорогими. Ты видел когда-нибудь быка вблизи? Страшное животное. Один раз такой бык заупрямился, не хотел возвращаться с пастбища. Я его потянул, раз, другой, третий, а он, вместо того чтобы пойти, как боднет меня. Я птицей взлетел вверх и камнем упал на капустное поле. Дай тебе Бог, Гециню, чтобы ты не летал так никогда в жизни. С разбитым нутром и переломанными костями я слышал вопли моей Шевы-Рухл, взывавшей к небесам, и мольбы о помощи моих сыновей, но не мог и мизинцем пошевелить. Маленькая моя Мирале плакала и молила: “Татэ, вставай, татэ, татэ, вставай...” Но я не встал. Знаешь почему? Потому что я был мертв. Мертв!

Он поднял наконец заслонку своих век и показал глаза, столь водянистые, что казалось, они вот-вот вытекут на его впалые щеки. Гитл потянула Геца за штаны: ну давай уже, да-

вай пойдём, однако узы страха и очарования приковали Геца к лежащему человеку. Череп словно парил в воздухе. Лишь губы, глаза и усохшая кисть выказывали признаки жизни.

– Меня омыли и облачили в саван, – продолжил свой рассказ Лейзер, благословенной памяти. – Пропели погребальные песнопения и прочли надо мной Кадиш. Я слышал запах свежих комьев земли и, хотя глаза мои были закрыты, ясно видел мою жену, соседей и сыновей, стоявших надо мной во круг открытой могилы. Среди них я увидел и его, Самаэля, ангела смерти, желтого змия, окруженного ангелами-вредителями. Мечом в своей руке он нацелился ударить мне в горло. Я хотел заставить его отступить от меня, хотел закричать, что коза на бойне жирнее меня, но сумел вымолвить лишь одно слово. Я сказал: “Ништ!”¹⁹

Я сказал “ништ”, и похороны остановили, ты понял? “Ништ” – и меня вынули из могилы. “Ништ” – и из рук могильщика я перешел в руки врача. Вот так просто. Одно слово отделяет мертвого от живого. Я вернулся к жизни. Шева-Рухл пожертвовала синагоге огромную сумму в знак благодарности Пресвятому, да будет благословен, за то, что Он сделал все, как было прежде, только вот ничего не стало как прежде. Ты слушаешь, Гециню?

– Слушаю.

– Слушай хорошенько, потому что сейчас дойдет речь и до твоего деда! После той смерти я уже не был самым собой.

¹⁹ Нет (*идиши*).

Когда-то я мечтал ступить на Святую землю, но после того, как меня почти похоронили заживо, я встать-то с кровати с трудом мог. Страх пронизывал меня. В каждом углу мне виделся он, Самаэль. Сидит и усмехается на стогу сена, таится на дне колодца, скачет на быке, поджидает меня под очком в нужнике, даже посверкивает в глазах Шевы-Рухл, Господи помилуй. И тогда...

Он засмеялся.

– Тогда...

Поперхнулся и откашлялся.

– Тогда...

Лейзер, благословенной памяти, сплюнул и продолжил еле слышно:

– Я решил провести ангела смерти. Откуда возникают такие идеи? Черт его знает... Я попросил твоего деда вытесать для меня надгробие, которое ты здесь видишь. Заказал похожие памятники и для жены с сыновьями. Дед твой отказался наотрез, заявив, что не делает надгробий для живых людей. Я его умолял, объяснял, что в этом нет никакого греха, но он стоял на своем. Я себе в убыток продал быков буйному сынку помещика и отдал твоему деду все деньги. И тот согласился. Настоящий праведник! Когда он спросил, какой год выбить на памятнике в качестве года смерти, я тотчас ответил: “Прошлый год”.

Лейзер, благословенной памяти, зашелся смехом, шуплая грудь поднималась и опадала, рука, державшая руку Геца,

дрожала, и Гец дрожал вместе с ней, опасаясь, что он наблюдает последние мгновения этого живого трупа.

– Прошлый год! – Лейзер внезапно снова стал серьезным и сделал глубокий вдох. – Однако история имела продолжение. Когда надгробия были готовы, я погрузил их в телегу и – оп! – поехал домой. Шева-Рухл увидела надгробия и сделалась белая как молоко. Жена должна полагаться на своего мужа, не так ли? Когда будешь жениться, Гециню, бери только такую, что будет полагаться на тебя! Короче, я ей спокойно так объяснил: каждый из нас поставит надгробие со своим именем в изголовье кровати, и когда ангел смерти явится высосать наши души, он взглянет на надгробие, смекнет, что мы уже умерли, и уберется восвояси. Что скажешь, Гецале? Толково, а?

Гец не ответил. Что тут можно ответить?

– Для человека, который боится показаться живым, ты не слишком ли много разговариваешь? – издали проговорил габбай. – Киндерлах, оставьте этого мешигинера²⁰ и идите сюда, послушаете проповедь к Пуриму.

– Что это, уж и поговорить нельзя? – возмутился Лейзер, благословенной памяти. – Мой язык никуда не сослан!

– В языке нет костей, но язык ломает кости, – донеслась откуда-то из потемок поговорка. – Вы, господин мой, так боитесь смерти, что, верно, немало грешили в жизни.

– Что это, кто? – всполошился Лейзер, благословенной па-

²⁰ Сумасшедший (*идиш*).

мяти: – Откуда вы вообще меня знаете?

– Знаю? Да что тут знать? Видел одного человека – видел всех. – Незнакомец вышел на свет, оказавшись крайне невысокого роста. Он был весь покрыт синяками и облачен лишь в тоненькую рубашу, прикрывавшую голое тело. Судя по его выговору, он не был уроженцем Хорбицы.

– Ты печешься о спасении тела, вместо того чтоб заботиться о спасении души, – укорил незнакомец Лейзера, благословенной памяти. – Кто запачкает одежду, данную ему при рождении, получит новую от Пресвятого, да будет благословен. Запачкает новую – получит еще одну. И так далее до бесконечности. Тело лишь постоянный двор для души, тело – только корчма, тело – богадельня. Не надо бояться смерти.

– Простите, – вскипел Лейзер, благословенной памяти, – я не спрашивал вашего мнения. Если вы не боитесь умереть, пожалуйста, умирайте, по мне – хоть сегодня. Я же, в отличие от вас, уже один раз умер...

– Смерть – не окончание жизни, – упорствовал незнакомец; он повернулся к изумленным детям: – Видели когда-нибудь гусеницу, ведь так? Она маленькая, мерзкая, ползает на брюшке. Таков человек, когда он появляется на свет. В течение жизни он покрывается сотканной из паутины оболочкой, скорлупой. И только если сумеет прорваться сквозь нее – лишь тогда он обращается в поистине великолепное создание, способное к полету, – в бабочку.

– Человек не бабочка! – Жилы на шее Лейзера, благосло-

венной памяти, вздулись, казалось, что этот человек, вознамерившийся при жизни играть роль покойника, сейчас соскочит со своего ложа и набросится на незнакомца. — Если уж тут нам рассказывают притчи, то я бы сказал, что человек как раз рождается как бабочка, маленькое и прекрасное создание, на котором нет греха, с годами же превращается в тошнотворную волосатую куколку и заканчивает свои дни как гусеница, в земле! А теперь замолчите и дайте мне закончить рассказ.

Незнакомец удрученно вздохнул и отступил обратно в темноту. А Лейзер, благословенной памяти, снова зашептал, глядя на Геца:

— На чем я остановился? Да, так моя Шева-Рухл, да будет земля ей пухом, скисла как молоко, услышав о моей идее спать в сени надгробий, дабы запутать ангела смерти. Отвернулась от меня, не проронив ни слова. Я думал, она еще сделает по слову моему и послушает меня. Принялся я выгружать могильные плиты из телеги, прежде всего, ее надгробие, из уважения к хозяйке дома, затем надгробия детей. Вдруг появилась Шева-Рухл с молотком. Только чудом я не успел выгрузить из телеги мое надгробие. В последний раз взглянул ей в лицо, красное от гнева, и погнал лошадь прымиком сюда, в богадельню. Занес внутрь мое надгробие и лег. Она пришла, орала на меня, но ничего не помогло. С тех пор я не вставал. Ни ради нее, ни ради кого бы то ни было. Когда придет Мессия и позовет меня в Святую землю, тогда

я встану. Но ни минутой раньше.

– Домой, Гец, – умоляюще протянула Гитл, но рассказ еще не кончился.

– Шева-Рухл разбила свое надгробие и надгробия детей на мелкие осколки. Вскоре после этого у нее стали гноить-ся ноги, и она умерла. Два года спустя, утром в день своей свадьбы, старший мой сын упал в колодец. Второй сын сгорел в огне. В пожаре, занявшемся в амбаре. А ты что думал? Только один Иов тут в богадельне? Мы все Иовы. И не спрашивай, какая судьба была уготована Мирале... Хуже всего. Вышла замуж за богача, и тот увез ее в большой город. Если бы только она осталась в Хорбице, я бы попросил твоего отца или даже тебя вытесать новое надгробие с ее именем, и Мирале лежала бы здесь, подле меня, и вместе мы сумели бы ускользнуть от Самаэля до пришествия Мессии. Ведь я был прав, теперь уже все знают, что я был прав... Я его провел. Ангел смерти частенько посещает нас. Забирает того, забирает этого, а мимо меня проходит. Я все еще жив!

Закончив свой рассказ, Лейзер, благословенной памяти, потер глаза.

– Ибо прах ты, и в прах возвратишься²¹, я же не возвращусь ни в какой прах... Нет, нет и нет. Ноздри мои не заполнит земля, в чреве моем не будут кишеть черви. Я жив, Гециню, ущипни-ка меня посильнее, и ты услышишь, как я закричу. Мертвые не кричат, если их ущипнуть. Ну же, ущип-

²¹ Бытие, 3:19.

ни меня, Гецале, ущипни и беги сделать и себе надгробие, чтобы ангел смерти не забрал тебя. Ущипни же, ну! Ущипни – или ты глухой?!

Наконец мальчик высвободил руку и выбежал из богадельни, малышка Гитл бежала следом. Кто захочет щипать живой скелет, когда на улице такой чудесный праздник Пурим, земля укрыта белым снегом, а на тускло-голубом небе ни единого облачка?

Дети насмешливо передразнивали шепот Лейзера, благословенной памяти, пока не стряхнули с себя остатки страха, который тот навел на них. Однако, души, разум ребенка – теплица для взращивания страхов. Как только страхи засядут в ребенке, то их уже не выкорчевать. Страхи таятся в самой глубине разума, тихонько спят там себе, но однажды, спустя сотни лет, на другом континенте, душным вечером в гостиную, по окончании глупой телепередачи, вдруг взойдут, дадут побеги и расцветут хищными цветами.

Театр на один день

Малкеле и Перец так и не пошли в синагогу на чтение свитка Эстер, и Гец с Гитл пришлось довольствоваться обществом прочих родичей. Гец жался к охрипшему дяде, прокашлявшему все время молитвы, Гитл же тряслась на костлявых коленях потной тетушки. По окончании молитвы, вместе с затопившей переулки толпой, они двинулись на рыночную площадь, освещенную факелами.

Ох, тайере нешомес!²² Люди, которые в обычные дни кололи дрова, поливали огороды, доили коров и резали скот, сегодня дурачились там как дети. Резник мчал в тачке местечкового раввина, и оба заходились в смехе-рёве. У банщицы из миквы перехватило дыхание от хохота. Дабы дать ей продышаться, пришлось снять с нее шубу. Смех заражал всех, от смеха кололо в животе, он стоял в горле и эхом отдавался в ушах, подлинный смех, без всяких подделок, ибо в мире еще не раздавался смех ни великих злодеев, ни рисованных персонажей, ни записанный смех за кадром в телесериалах.

Мужчины, женщины и дети прыгали через *машварта депурья* – узкую канавку, в которой горели дрова и смола, в память о яме, вырытой Аманом для евреев. “Как мы перепрыгнем через эту горящую яму, оставшись невредимы, так

²² Дорогие души (*идиши*).

спасет нас Пресвятой, да будет благословен”, – ревела святая община, и не было среди них ни одного, кто не верил бы в это всем сердцем. Прыгали все, прыгал Арье-Лейб, местечковый раввин, прикрывая от огня свою длинную бороду, прыгала его супруга, прозываемая Лейбице – львицей, вздымая в прыжке подол платья, чтобы уберечь его от языков пламени, и выставляя напоказ толстые волосатые щиколотки.

– Ты прыгаешь, Гец? – спросил еще безусый Янкеле, которого недавно женили. Он разбежался, перепрыгнул через языки пламени и исчез по ту сторону канавы за занавесой дыма.

– Прыгаешь или нет? – подначивал Геца какой-то малыш.

– Я за тобой, – ответил Гец, и карапуз стрелой помчался вперед, не испытывая ни малейшего страха.

Прыгали сыновья меламеда и делопроизводителя местечковой управы, сватья и даже слепой Гешл.

Гец подтянул тесемку на штанах, надвинул шапку на уши, глубоко вдохнул, но ноги его словно приросли к земле. Гитл устала на него сверкающими глазами. Она устала и проголодалась, но позабыла обо всем, страстно желая увидеть, как брат совершит геройство.

– Как мы перепрыгнем через эту горящую яму, оставшись невредимы, так спасет нас Пресвятой, да будет благословен! – прокричал Гец и сорвался с места.

Проще простого. Он приземлился дальше, чем предпола-

гал.

А Гитл уже бежала к нему, восхищенно выкрикивая:

– Как ты это сделал? Как? Скажи мне, Гец, как, как ты это сделал?

Солнце над Хорбицей зашло в один миг, как будто на небо набросили простыню. Раскрасневшиеся, все собрались вокруг огромного костра. Старуха с тяжелой одышкой молила принести из колодца несколько ведер воды, чтобы загасить пламя, уже лизавшее деревянные прилавки.

– Гец, сынок, смотри, твоя мама, да продлятся ее дни, сейчас прыгнет через яму, – сообщил меламед. Он страдал близорукостью в мире, в котором еще не было офтальмологов, но даже человек с отличным зрением ошибся бы и подумал, что Малкеле собирается прыгнуть через огонь. Однако это был бритый Перец, надевший старое платье жены. Сама Малкеле осталась дома, наедине с подыхающей коровой и душой умершего Ицикла.

Дети подбежали к отцу. Гитл стала ныть, что она хочет есть, и добилась того, что Перец посадил ее на плечи. Оставив позади рыночную площадь, вся троица направилась к ряду кирпичных домов, принадлежавших богатым местечковым заправилам. У входа в один из них столпилось несколько молодых парней.

– Перец, это ты?! – спросил толстоватый парень со сплетенной из прутьев короной на голове.

– Перец? Кто это Перец? – женским голосом отвечал

Перец, помахивая подолом платья. – Я царица Эстер!

Наградой ему стали уважительное хихиканье и мужские похлопывания по плечу.

– Что, начнем? – спросил Ханина, плотник без большого пальца на руке.

Он ударил в барабан, который держал в руке, и все разом затагнули песню, может быть, не самую приятную на слух, однако согревавшую сердца. При первых звуках пения дверь отворилась и на пороге появилась женщина поперек себя шире, с огромной бородавкой на носу.

– Эй, Менахем-Нохум, пурим-шпилерс!²³ – Она возвысила голос: – Перец, ты ли это? Спаси Боже, что ты с собой сделал?!

– Суре-Бейле, я знаю, что в доме у тебя полно детей, но вот тебе еще двое! – улыбнулся Перец и протолкнул Геца и Гитл внутрь.

Схватив потными руками руки детей, хозяйка повела их в дом. Одним махом она сняла с Геца его армяк. В доме было светло как днем, в очаге пылал огонь, горели десятки свечей. Не меньше четырех поколений гостили в доме парнаса²⁴ Менахема Нохума. Взрослые сидели в креслах с мягкой обивкой, малышня же теснилась на соломенной циновке. То

²³ Пурим-шпил (дословно “пуримская игра”, *идиш*) – традиционное юмористическое представление, своего рода капустник, который разыгрывают в праздник Пурим, обычно инсценируя сюжет Книги Эсфири с вставками на злобу дня. Пурим-шпилерс – самодеятельные актеры, задействованные в представлении.

²⁴ Парнас – глава общины, старейшина, городской заправила (иврит, *идиш*).

были причесанные чистенькие дети, с пухлыми щечками и мягкими ручками. Вместо того чтобы с омерзением рассматривать грязь на лаптях гостей или корчить гримасы, почуяв исходивший от них запах костра, они приняли пришельцев в свои ряды, освободив место для их маленьких попок. А быть может, то было очарование театрального зрелища, обращающего всех зрителей в равных среди равных.

Все лица обратились к коврику, на котором должно было состояться представление Пуримшпиля, театра на один день, возникавшего и исчезающего из года в год. В любой иной день, кроме Пурима, такая презренная деятельность была бы осуждена как собрание шутов. Однако евреи всегда умели найти лазейку в законах, изобретенных ими для самих себя, лазейку, именуемую толкованием.

Ряженые взошли на ковер в порядке их появления по сюжету свитка. Первым был Ханина в роли глашатая. Он вперил в зал долгий, изучающий, мрачный взгляд, а затем улыбнулся и разразился криком:

– Гит Пурим, Менахем-Нохум, да возвысится величие твое, гит Пурим, Суре-Бейле, да возвысится величие твое даже больше!

От испуга хозяйка дома прижала руки к груди, одновременно зайдясь в смехе.

– Дорогие евреи, сегодня мы прибыли к вам прямо из столичного города Шушана!²⁵

²⁵ Шушана – место, где разворачивается сюжет Книги Эсфири. В синодальном

– Гит Пурим, гит Пурим, – отвечал за всех хозяин дома, поглаживая свою широкую, как топор, бороду.

От волнения Гитл вскочила на ноги. Она снова жевала кончик своей косы, выпростав ее из-под платка и облокотившись о плечо сидевшего Геца. Тот был захвачен представлением, а также шатающимся зубом, который он оглаживал языком, что доставляло мучительное наслаждение. Коренной моляр над молочным зубом уже проклюнулся в верхней десне и толкал собрата, побуждая освободить ему место.

– Не театр перед вами и не цирк, упаси Господь! – возгласил глашатай без большого пальца. – Но шутки и прибаутки во славу и прославление имени Господня, да будет благословен Он. Мы представим вам историю из свитка, в которой немало опустим и к которой немало добавим. Только посмотрите, кто ожидает нас снаружи, – а ганце вельт!²⁶

Ханина выглянул в окно и издал протяжный свист, как если бы увидел длинную вереницу людей.

– Реб Менахем-Нохум, – обратился Ханина к хозяину дома, – среди великого сборища на улице я заметил пьяного царя, умирающего от холода. Пустить его в дом?

Менахем-Нохум с сомнением покачал головой и втянул в обе ноздри полную понюшку табаку. Дети стали упрашивать его, чтобы он дал свое соизволение.

– Ладно,пусти уж! – разрешил он наконец.

переводe – Сузы, ныне город Хамадан в Иране.

²⁶ Весь мир (*идиши*).

Держа в руке длинный сук, изображавший скипетр, с плетеной из прутьев короной на голове, с роскошной мантией на плечах, царь Ахашверош ступил в зал.

– Не бойтесь, дети, – успокоил Ханина, – его величество выпил только каплю жженого вина. Ну, может, две.

Ахашверош недостойным образом упал на престарелую мать Менахема-Нохума, рыгнул и растянулся навзничь на ковре. Возгласив плаксивым голосом, что потерял свое драгоценное кольцо с царской печаткой, он тотчас вынул его из-за уха одного из смеющихся детей.

– Почему здесь так тихо? – вскричал царь. – А где Бигтан и Тереш?²⁷ Позвать их, пусть поиграют нам.

– Музыка! – взвопил Ханина, и в зал вошли два молодых человека.

Один играл на цимбалах, струнном инструменте с деревянной декой, украшенной нарисованной птицей, другой дудел в дудку, выточенную из рога. От усталости у Геца и Гитл уже опускались веки. Кто-то еще хотел зайти в дом, но Ханина захлопнул перед ним дверь.

– Знаете, кто это был, почтенные зрители? Злодей Аман!

Одни дети заскрежетали деревянными трещотками, другие, и среди них Гец и Гитл, затопали ногами и стали ругать Амана.

²⁷ Бигтан и Тереш – персонажи Книги Эсфири. В синодальном переводе Гавафа и Фарра. См.: Эсфирь, 2:21: “...два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились, и замыслили наложить руку на царя Артаксеркса”.

– Злодей Аман собственной презренной персоной стоит снаружи и переминается с ноги на ногу от холода. – Ханина изобразил Амана. – Когда руки его на чреслах, у него мерзнет задница, прижмет руки к заднице – мерзнут чресла. Что ж станет делать? Да пусть прижмет одну руку к заднице, другую положит на чресла, тут-то понос его и прохватит, так или иначе – обе руки обгадит. Что скажешь, хозяин, впустить злодея?

Менахем-Нохум повернулся к молодому поколению:

– Вам решать, впустим злодея?

Дети молчали, кусая ногти, побаиваясь, как бы не ошибиться с ответом.

– Конечно, впустим, – пришел хозяин на выручку смущенным детям. – Если Пресвятой, да будет благословен, впустил Амана в свой мир, кто мы такие, чтобы не пускать его к себе в дом в Пурим?! А-ма-ан! – громко закричал он, и все застучали растопыренными пальцами по полу, надрываясь в крике.

В комнату проворно вбежал злодей Аман, которого изображал шляпник Шмерл, худой еврей с глазами навывкате и острой бородкой. Он оступился и растянулся на ковре. Потолок чуть не рухнул от громового улюлюканья.

– Ой-ой-ой, ваше величество, – проговорил Аман гнусавым голосом Шмерла, – есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами, так я бы повязал их всех вместе: кривоносых и сопливых, корыстолюбивых мошенников,

мужей добродетельных жен, отцов миловидных дочерей, великих в Торе, избранный народ, – короче! – всех бы их собрал да и изжарил в их собственной крови.

– Если уж заговорили о жарке, – неожиданно обратился царь к Суре-Бейле, – в этом доме найдется что-нибудь пожарить?

Шмерл-Аман встал между ними, словно пытаясь не дать им сойтись в схватке:

– Ваше величество, я говорю о народе, который неплохо бы истребить. Я готов уничтожить их самолично, если мне будет заплачено десять тысяч серебром.

– Кстати, о серебре, – взглянул царь на Суре-Бейле через плечо Шмерла, – что это там на серебряном подносе?

Хозяйка вынесла актерам круглый каравай собственной выпечки. Сладкий запах разнесся по комнате. В животе у Гецца заурчало, когда Аман отломил от каравая кусок и как ребенок стал кормить царя Ахашвероша, продолжая капля по капле вливать в его уши яд своих нашептываний касательно жидов, отзываясь с издевкой обо всем, о субботе и обрезании, о днях женской нечистоты и омовении в микве, особенно же о длинном носе, которым Господь благословил еврея.

Однако его величество погрузился в сон, и Аман обратился к детям. Им он рассказал, что ходил к ведунье и спросил ее, в какой день умрет. Та ответила – в еврейский праздник. Аман перепугался и спросил, в какой еврейский праздник. И она ответила: когда б ты ни умер, день этот будет еврей-

ским праздником!

От смеха Менахем-Нохум аж прослезился, будто на похоронах. А тем временем женщины отламывали куски от каравая и оделяли детей. Гец целиком затолкал в рот свой кусок, испещренный крапинками изюма. Кусок Гитл он крепко зажал в руке, потому что та, несмотря на вопли актеров и громовой хохот, задремала, положив голову ему на колени.

И тогда вошла царица Эстер. Она изящно ступала, посылая во все стороны всем воздушные поцелуи, волосатые толстые икры выглядывали из-под платья.

– Кто это? Что бы это могло быть? – угрожающе перешептывались взрослые.

– Это Перец-каменотес.

– Перец – мастер по надгробиям? Да как можно!

– У него же дети, слыхано ли такое?

– Так не делают. Даже если сегодня Пурим. Бороду брить нельзя.

Перец повернулся к шептунам:

– О ком это вы там сплетничаете, о Переце? Так я его, шлимазла²⁸ этакое, отлично знаю. И постараюсь, чтобы у всякого, кто плохо о нем отзовется, было написано на надгробном камне: “Здесь похоронен еврей-сплетник, отошедший в мир иной, получив пинок под зад”! А теперь простите меня – музыка!

Эстер пробудила Ахашвероша ото сна с помощью пары

²⁸ Неудачник, недотепа (*идиш*).

звонких пощечин и пустилась с ним в пляс. Кроме одного дряхлого старика, продолжавшего сетовать о мельчающем поколении, публика захлопала в ладоши и перестала обсуждать бритые щеки Переца. Гец не мог присоединиться к плясавшим, потому что рука его служила подушкой спавшей у него на коленях сестре. Перец с любовью улыбнулся ему и подмигнул, никогда еще он не вел себя так раскованно. Танцоры освободили место на ковре для злодея Амана.

– Евреи, поклонитесь мне! – повелел тот публике. – Быстро всем преклонить колени!

Снова раздался шум трещоток, публика во весь голос выражала свое возмущение Аманом.

– Знайте, – сказал Ханина, – что в столичном городе Шушане лишь один еврей был храбр, как вы, еврей Мордехай!

На ковре появился еще один актер, в вышитом кафтане и феске.

– Аман! – выпрямив спину, воззвал к Аману Мордехай с красным от холода носом. – Чтоб скорпион и пчела ужалили тебя вместе.

А Ханина разъяснил для детей:

– От укуса пчелы помогает ледяная вода, а вот от укуса скорпиона – вода горячая. Тому же, кого ужалили и скорпион, и пчела, – тому ничем не помочь.

– Как же мне избавиться от этого наглого еврея? – вопрошал Аман. – Изжарить его, сварить, запечь в печи, может, повесить? Пройдусь-ка я меж деревьев и подумаю. О, а вот

олива. — Он махнул рукой Ханине: — Олива, олива, можно мне сделать из тебя виселицу для Мордехая?

— Нет, ибо сам будешь повешен на ней, — отвечал Ханина.

— Найду себе другое дерево, — сказал Аман и обозрел публику. — О, а вот смоковница. — И он повернулся к хозяину дома: — Смоковница, смоковница, можно мне сделать из тебя виселицу для Мордехая?

— Нет, ибо сам будешь повешен на ней, — удовлетворенно ответил ему Менахем-Нохум.

Аман стал обращаться ко всем зрителям, и каждый в свою очередь отказывался от того, чтобы из него изготовили виселицу для Мордехая, приговаривая:

— Нет, ибо сам будешь повешен на ней.

Тем временем Ханина подбросил к потолку веревку, обмотал ее вокруг балки и спустил свободный конец вниз.

Заметив веревку, Шмерл-Аман замолчал и принялся кусать губы. Поняв же, что его собираются повесить, он стал просить у царя прощения и предлагать тому свою жену в кухарки, а сыновей — в конюхи. Царь был непреклонен. Аман стал молить сжалиться над ним хозяйку дома, детей, упал на колени и попросил прощения у почтенных матрон, сидевших в обитых тканью креслах. И те почти отозвались на его мольбы. О, Шмерл! Какой великий артист. Хотя он и играл ненавистника евреев, но сумел удостоиться бóльших симпатий публики, нежели все его товарищи по трупке.

У Ханины — палача — Аман попросил позволения про-

ститься с детьми, но тот ответил, что в этом нет необходимости, ибо все десятеро его детей будут повешены вместе с ним. Залезая на стул и готовясь сунуть голову в петлю, Шмерл пел и лил слезы. Настоящие слезы! Многие плакали вместе с ним.

*Уж миновала первую ступень нога моя,
В последний путь на эшафот ведет стезя меня...
Осталась лишь мольба одна к тебе, палач почтенный:
Чтоб боле слух мой не пытал трещоток треск
презренный.*

Полная тишина воцарилась в комнате, когда Шмерл-Аман собственными руками затянул петлю на своей шее.

– Почтенные, это конец злодея Амана, ненавистника евреев, – возгласил Ханина, – который искал для себя царства, а обрел петлю висельника.

К изумлению зрителей, Ханина выбил ногой стул, и Аман повис на веревке, задыхаясь и дрыгая ногами в воздухе, руками же пытаясь ослабить петлю, затягивавшуюся на шее. Из последних сил он прохрипел:

– Гот, майн гот, варум фар лазту мих? Боже, Бог мой, почему Ты оставляешь меня?

Тело его изогнулось, содрогнувшись в последнем трепетании, и голова упала на грудь. Толстый язык выпал изо рта, тело покачивалось между потолком и полом.

Среди зрителей все замерли, никто не пошевелинулся. Все

глаза не мигая смотрели в одну сторону. Не слышно было ни вдоха, ни выдоха. Сердца перестали биться. Мир застыл на месте.

И вдруг – крики, Суре-Бейле падает в обморок, Менахем-Нохум истошно орет. Гитл просыпается и заходится в плаче, не понимая, что, как и почему. Гец протягивает ей ломоть хлеба, который сохранил для нее, она одним ударом выбивает хлеб у него из рук и отбрасывает в сторону. Ничто не помогало. Ни то, что Шмерл открыл глаза и знаком показал Ханине придвинуть к нему стул, ни то, что Перец стал объяснять взвинченной публике, что это всего лишь трюк, который они выучили у труппы бродячих артистов. На Суре-Бейле вылили ведро воды, однако, открыв глаза и увидев перед собой Шмерла, которого уже вынули из петли, она заорала, словно увидела черта.

Пурим-шпилеры были вынуждены раскрыть тайну своего трюка. Шмерл разделся и показал систему веревок, обвивавших все его тело: одна веревка была обвязана вокруг талии, как пояс, от нее по спине поднимались наперекрест веревки к плечам, на затылке была сделана петля, к которой и крепилась веревка, спускавшаяся с балки. Петля же, в которую он просунул голову, была имитацией, которая никоим образом не могла затягиваться.

– Даже ребенок смог бы проделать этот простой трюк! – заявил Перец. – Гец, иди сюда!

Гец поднялся с места.

– Молодец, сынок! Гец сейчас вам покажет, как это делается. Музыка!

Цимбалы и дудка играли быструю мелодию, пока Перец снимал с сына рубашку. Честь всех актеров подвергалась испытанию. Они были обязаны успокоить разгоревшиеся страсти и должным образом закончить представление. Грудная клетка девятилетнего ребенка зримо проглядывала меж грубых веревок, повязанных на голое тело. Он просунул шею в петлю-обманку и, хотя она не плотно прилегала к горлу, немного задохнулся.

– Где-нибудь давит? – с тревогой спросил отец.

Гец покачал головой в знак отрицания и проглотил слюну. Через считанные минуты механизм был готов к действию. На него вновь надели рубашку, так что все выглядело в совершенном порядке, прикрепили теменную петлю к длинной висельной веревке и поставили Геца на стул.

– Перец, смотри, чтобы это не закончилось плохо, эти ваши игрища! – предупредил Менахем-Нохум.

– Спустите его оттуда, Бога ради! – выпалила красивая женщина, стоявшая у окна. Прикрывая глаза руками, она смотрела на ребенка, которого собирались повесить. Гитл что-то закричала брату, стремясь его приободрить.

– Готовы? Гец, готов? Эйнс, цвей...

Перец выбил стул. Гец издал шутливый крик и закачался на веревке. Снова тишина, снова все замерли, снова мир застыл на месте – на сей раз из-за девятилетнего ребенка. Точ-

но как Шмерл, Гец далеко высунул язык и уронил голову на грудь.

Дети смотрели на него с недоумением, они отроду не видели повешенного. Во взглядах же взрослых смешались трепет, восторг, тревога. Им не раз и не два доводилось видеть повешенных, в некоторых случаях речь шла об их родственниках, казненных по приказу магната. Гитл в смущении издала знакомую свою невнятную присказку, др-др-др, гр-гр-гр, поперхнулась и посмотрела вокруг, словно проверяя, помнят ли все, что именно ее брат наложил на них чары безмолвия, что ее брат качается сейчас в петле.

– Скажите-ка мне, – расколол отец Геца тишину, – слышали вы о повешенном, поздравляющем вас и желающем счастливого Пурима?

Он легонько коснулся ног сына.

– Гит Пурим! – надорвал Гец горло в крике и вытаращил глаза.

Все засмеялись и захлопали в ладоши, громче же всех хлопал Перец. Он закрутился на месте, так что подол его платья развевался в воздухе, а затем отвесил публике поклон. Ханина затряс дребезжащую жестянку и возгласил:

– Сегодня Пурим, а завтра нет! Где тот праведник, что тотчас встанет и грош в моей руке оставит? Последний шанс. В будущем году Пурима не будет – ибо придет Мессия.

И тут с улицы донеслись крики:

– Гой прибыл! Гой приехал!

Гой

Павел приехал из Дыровки, деревни, где, по слухам, был выставлен Ицикл. Простого крестьянина приняли в доме местечкового раввина с почетом, достойным приема магната. Его усадили на стул, и перед ним выстроились старейшины местечка. Любопытные жители Хорбицы толпились вокруг дома, заглядывали в окна, щели и трещины. Протиснулись вперед и Гец, Гитл и их голощекий родитель, облаченный в женское платье; последнее ему удалось обратить из повода для насмешек в источник гордости.

Гец пребывал в приподнятом настроении – из тех, что бывают лишь в мире детства. Плечи у него еще ныли от одобрительных хлопков, которыми его удостоили после того, как вынули из мнимой петли. Под рубашкой по-прежнему скрывалось переплетение веревок для повешения, которые, несмотря на зуд и неудобство, он наотрез отказался снять.

– Какие роскошные усы! – пролепетала тучная крестьянка, занявшая пол-окна.

– В точности как бобровый мех! – заметил кто-то.

– Такие усы за одну ночь не вырастут... Тут обращение требуется, забота, отношение, – с ученым видом отметил местечковый цирюльник.

– Как, как?.. Два чертенка их растягивают в стороны!

– Похож на принца, – процедила дочь цирюльника.

– Дай Бог, чтобы ты держалась подальше от таких принцев! – воскликнула ее мать.

– Много ты принцев видала за свою короткую жизнь, чтобы так говорить! – гневно выпалил ее отец.

– Кричите хоть до Песаха! – ответила дочь. – Я сказала, что похож на принца, и ничего больше, а кто услышал что другое – пусть прочистит себе уши!

– Тихо вы, мы тут хотим что-нибудь услышать, а и так ничего не видно! – прикрикнули на них.

– Эй ты там, кого Господь вытянул вверх, рассказывай нам, что видишь! Чтобы как при Синайском откровении, да не сравнится оно с этим, мы бы видели голоса!

И высокий еврей начал отчитываться обо всем происходящем в доме перед всеми коротышками и теснившимися сзади.

– Раввин своими руками наливает гою.

– О-о... – прошел общий гул среди толпы.

– В серебряный кубок.

– А-а...

– Гой пока не пьет. Слушает раввина.

– О чем он ему вещает, раввин, о кошерном убое свиной? – донесся откуда-то раздраженный голос.

– Нет, дурак! Почтенный раввин объясняет гою, что нет ничего постыдного в задании, ради которого тот приехал сюда сегодня. У нас в Хорбице испокон веков было заведено, чтобы в Пурим гой устраивал шествие Амана.

– В других местечках с этим давно завязали. Власти издали официальный указ.

– Вот поэтому раввин ему и объясняет! У нас в этом видят не унижение, а наоборот – великий почет.

И действительно, во дворе раввинского дома телегу гоя грузили приношениями: бочка пива, крынка молока, солонина, медовая хала, шкуры и меха – достойная выборка плодов всех отраслей производства в Хорбице.

Несмотря на все различия и кровавые наветы, евреи и гои умели жить вместе. Музыканты этих играли на свадьбах тех, вместе торговали на ярмарках, вместе боролись с наводнениями и пожарами, а когда водка текла рекой, лобызались: у этого губы блестели от гусяного жира, у того – от свиного сала.

– Подарки – единственное, ради чего он это делает! – снова вмешался раздраженный голос. – С такими подношениями я бы и сам оделся Аманом и прошелся по местечку! Что, от меня убудет от пары проклятий и нескольких комьев грязи? Всякий согласится на унижение, если это будет сделано с почетом.

– Да вот я хоть сейчас готов тебя унижить, даже без того чтоб ты оделся Аманом, гнилая ты луковица! – Кто-то сбил с раздраженного шапку, вызвав общий смех.

– Вот, раввин закончил. Теперь все пьют.

– Лехаим! – закричали им с улицы.

– Они выходят! Раздайтесь, они выходят!

Раввин остановился против Переца, глядя на него с изумлением, смешанным с ужасом.

– Ваше почтенство, – стал сетовать мужчина, ряженный царицей Эстер, – я лишь хотел исполнить заповедь обратить все в противоположность!

– Есть устои мира, которые не след переворачивать! – выговорил ему раввин. – Отправляйся домой и сейчас же сними женскую одежду!

– Не сниму! – сказал Перец, когда раввин отдалился. Достав из-под платья кожаный бурдюк, он вылил его содержимое себе в глотку. – Киндерлах! – вскричал он без всякой видимой причины и поцеловал детей в губы, оставив на них вкус медовухи.

Посадив Гитл себе на плечи, Перец чуть не опрокинулся назад. Все потянулись на рыночную площадь. Хорбичане выстроились в два ряда, один против другого, образовав тем самым “Скорбную тропу”, по которой должен был проследовать гой. При свете факелов и звезд кричащие люди утратили свой привычный облик: тетушка Геца и Гитл походила на ведьму, двоюродные сестры лаяли, как бродячие собаки, а татэ Перец обратился в пьяную, как Лот, женщину.

– Да будет проклят Аман!

– Предводитель всех врагов наших!

– Змеиное семя!

Гой Павел шагал вперед. Сначала с высоко поднятой головой, затем потупившись, но не от обиды за проклятия, ведь

он все равно не понимал их смысла. Уже не узнать, кто первый кинул в Павла-Амана ком грязи, но вслед за первым в дело включились и все остальные. Одни кидали грязь, палые листья, прутья, другие доставали куски тухлого мяса, про-тухшую пищу, скисшее молоко, горшок с ледяной водой из ручья и даже бадью с нечистотами.

– Отступник! – надрывал горло Перец, шатаясь вперед и назад.

Павел больше не походил на того гоя, который с таким почетом был принят в доме раввина. Под слоем грязи он казался вылезшим из болота лешим, роскошные его усы промокли и обвисли, шаги замедлились под тяжестью мокрой одежды, он часто сплевывал, но не сходил с “тропы”, не изменив направления, даже когда ему в лицо попал брошенный кем-то шмат коровьей требухи.

– Злокозненный гордец!

– Лесной кабан!

– Так поступают с человеком, которому царь желает воз-
дать почести!²⁹

Был там и бродячий аскет из богадельни. Гец отвел глаза от гоя и посмотрел на скитальца. Тот не кричал, не бросался грязью и лишь с отвращением наблюдал за происходящим.

– Он идет, дети, Аман приближается! – крикнул татэ. Гец и Гитл наклонились и набрали в свои маленькие ручки пол-ные горсти грязи.

²⁹ Ср.: Эсфирь, 6:11.

– Сейчас! – медведем рыкнул татэ. – Со всей силы! – проревел он. – Сейча-ас!

Души мои дорогие, добро пожаловать в черную дыру в моем сознании. Если бы я мог продолжить и дальше описывать все предельно точно, без искажений, вызванных провалами в неверной памяти, рассказать обо всем шаг за шагом, ничего не упуская, – о, как бы это было прекрасно. Но я не могу. И вынужденно делаю пропуск в изложении.

– Но жить он будет? – вопрошал Перец плачущим голосом, обращаясь к раввину.

– Какой там жить? – ответил ему кто-то вместо раввина. – Ты только взгляни на него. Из него кровь хлещет, как из разрезанной коровы.

Павлу приподняли руку, она тяжело упала на землю. Хлестнули по щекам, он не двигался. Вокруг его головы застывала темная лужа. Ребецн поспешила принести из амбара ведро воды. Павлу отмыли лицо, вычистили грязь из его роскошных усов. Обвязали рану чистой тряпкой.

– Таковую дыру ничем не заделаешь, – сказал цирюльник и предложил вырыть в лесу яму. Положить в нее, прикрыть землей, и конец истории.

– Ни в коем случае! – ужаснулся раввин. – Пресвятой, да будет благословен, все видит, от него ничего не скроешь!

Калман-Калонимус, зажиточный откупщик, предложил

деловое решение:

– Поедем в Дыровку и скажем, что с ихним Павлом приключилась беда, несчастный случай. Предложим отдать за него две коровы, три овцы и восемь бочек вина.

– Они не согласятся на меньше чем десять волов, десять коз и десять бочек вина.

– Да откуда мы возьмем все эти сокровища? Тут вам не Люблин...

– Глупцы, тут и сто коров не помогут! Гои всех нас сожгут заживо, детей и женщин будут резать как куриц, Содом и Гоморра будут здесь, потоп, реки крови. Хорбица исчезнет, будет стерта с лица земли, была Хорбица – и нет больше...

– Хватит! Предоставим решение Пресвятому, да будет благословен, и станем молиться о пуримском чуде, – отрезал раввин и погрузился в молитву.

Мужчины присоединились к нему, обратившись спиной к покойному.

– Ваше почтенство, – прервал Калман-Калонимус молитву, – простите меня, но мне пришла на ум другая идея, если позволите... Посадим гоя в телегу, лошадь-то ведь знает дорогу к его дому в их деревне. Что скажете? Предоставим Господу, да будет благословен, вести их по воле Его. А будут задавать вопросы, скажем, что от нас Павел выехал целый и невредимый. А откуда кровь на голове, мы ни малейшего представления не имеем. Воры, разбойники, да мало ли подонков в этом мире? Кровь свернется, пока он доедет домой,

может, ее и не заметят.

— Ага, не заметят, — истерически рассмеялся Перец. — Может, он еще и с женой поздоровается? — Лицо его покраснело и было осенено печалью. Платье порвано, будто он надорвал его в знак скорби по умершему. Еще и из-за этого придется объясняться с женой.

За всем происходящим Гец и Гитл наблюдали из-за угла амбара. Зрелище окровавленного трупа пугало их меньше, чем страх, охвативший всех старейшин местечка. Ребецн тщательно почистила щеткой гою, его густые волосы причесали, так чтобы скрыть рану.

— Вперед, наденьте на него шапку.

— Шапка пропала.

— Мы ведь не напаялим на него ермолку! Ищите шапку!

— Вот она, — сказал один из мужчин, переносивших Павла в амбар, как носят ребенка. Шапка была совершенно чистая. — Она слетела с головы господина Павла в самом начале процессии, а дочка подобрала ее. Не чтоб украсть, напротив, чтобы потом вернуть ему со всем почтением. Дочка моя в обычные дни почти не смеется никогда, а когда господин шел... она... она... и теперь...

Казалось, если бы у него не выхватили из рук подбитую мехом шапку, он так бы и заикался до скончания веков. Шапку надели Павлу на голову и усадили его в телегу, на место возницы. Сунули ему за пояс концы вожжей, по бокам поставили два тяжелых бочонка, чтобы тело не упало. Издале-

ка, да даже и вблизи, гой выглядел как человек, которому привалило счастье и который едет домой в телеге, полной всякого добра.

– Проводим его до моста, – постановил раввин, и все молча подчинились.

Рыночная площадь по-прежнему была завалена грязью, но костры уже мало-помалу затухали. Лужа крови успела впитаться в жадную до любой влаги землю. Дорога до моста показалась длиннее, чем обычно. Гец помог Гитл взобраться на задок телеги и устроиться между богатых подношений. Слабеньким голоском она спросила брата, где татэ. Гец не знал. Взгляд его переместился на спину мертвого возницы, сидевшего на облучке.

Когда они подъехали к переброшенному через реку мосту, раввин сделал знак остановиться. Плеск воды сопровождал молитву с мольбой о милосердии. Прикрыв глаза руками, евреи отвечали “Амен!”. Гец раскачивался как пацанчик, каким он хотел быть, подросток, которого Готеню любит. Он молился, чтобы гой Павел чудесным образом воскрес, снова задышал, задвигал членами. “Ну!” – крикнул кто-то и дважды хлестнул лошадь, которая заржала и припустила вперед. Копыта ее стучали по земле, и она послушно и без опасений двигалась дальше, в Дыровку.

По пути домой Гец обратился мыслями к Ициклу. Братец, думал он, тут у нас приключилось страшное дело. Как бы ты поступил? Он представил белесоватый скелет, крошечный,

как у младенца, но с умным, взрослым лицом. Единственным скелетом, который Гец когда-либо видел, был скелет лисицы; черви и насекомые копошились в наполовину съеденной падали, чудовищно смердевшей, кости прорывались сквозь разлагающуюся плоть. Гецу не верилось, что Ицикл воняет, иначе бы никто не прикладывался к его ногам. Если бы ты был сейчас со мной, брат, думал Гец, мы бы залезли на высокое-превысокое дерево и сидели бы на нем до утра. С Гитл нельзя залезть ни на какое... Гитл! Он осмотрелся – маленькой тени с желтой косой, вечно следовавшей за ним по пятам, нигде не было видно.

Погруженные в себя люди шли мимо него – мужчины все как один пьяные, да и женщины не очень-то трезвые, – торопились домой, отрицая всякую связь с несчастьем. Гец позвал сестру по имени. Не услышав ответа, он развернулся и двинулся обратно к мосту. Ничто не напоминало там о недавнем столпотворении. Гитл не было и в помине. Черная вода реки казалась застывшей, как камень. Какое-то время он всматривался в нее, потом посмотрел по сторонам, надеясь увидеть проблеск желтой косы. Ветер хлестал его в спину, когда он переходил по мосту на другую сторону реки и шел по торной дороге, ведущей в Дыровку. До того он еще никогда не покидал Хорбицу. Шапка слетела у него с головы, но он не стал останавливаться, чтобы подобрать ее. Он ускорил шаги, казалось услышав призрачный голос Ицикла, прошептавшего ему: “Ты оставил Гитл на телеге, Гец, оста-

вил нашу сестру на телеге”.

Ночь

Я описал свет семнадцатого столетия, теперь же пришло время сказать несколько слов о его мрачной сестре – тьме. В те времена тьма могла запираť людей в домах, препятствовать движению путников по дорогам. Люди пытались противостоять ей с помощью свечей и факелов, однако она обращала их в бегство жуткими тенями и густым мраком. Та тьма с наивностью диктатора не могла предположить, что даже месяц – наводивший на нее ужас светильник – поблекнет при свете залитых электрическим сиянием мегаполисов.

Когда Гец шел по следам телеги, властительница-ночь все еще обладала непререкаемой властью, и никто не смел бросить ей вызов. Она заметала тропинки, так что они исчезали прямо под ногами, опускала свои темные завесы и черной грязью мазала веки всякому, кто желал хоть что-нибудь увидеть во тьме.

Веревки с Пуримшпиля по-прежнему жгли тело Геца. Но они же и посеяли в его сердце странную надежду, как будто невидимая рука еще могла вызволить его из мрака с помощью веревок и вернуть домой. Где-то скрипели ветви, им отвечал пронзительный свист сыча. Гец едва не упал, споткнувшись о большую шишку – в точности такую, какой они играли утром. Если я найду Гитл, то поклянусь Готеню, что всегда буду давать ей выигрывать.

Еще не поздно вернуться назад, думал Гец, но мать пугала его пуще темноты. Он испытал на себе ее звонкие пощечины, пронзительные взгляды, жгучее молчание, и все это свалится ему на голову, если он вернется без сестры. Конечно, ему хотелось верить в то, что погоня напрасна, что его малышка-сестра спокойно спит себе в домике под двумя липами, а хватились все его – обеспокоенно ищут повсюду. Но воображение подсовывало совсем иную картину: лошадь, знающая дорогу домой, как сказали взрослые, довезет телегу до хаты Павла в Дыровке, домочадцы обнаружат, что глава семьи мертв, а затем найдут и Гитл, которая, конечно, будет тихонько плакать. Ее засыплют вопросами, а она, ничего не понимая, будет лишь снова и снова повторять название “Хорбица”. И тогда они задушат ее, вооружатся вилами, серпами, факелами и все как один устремятся по дороге. Хорбицу сожгут. Всех убьют. И все это по вине Геца.

Эти размышления о гибели местечка прервали послышавшийся впереди перестук копыт и поскрипывание оглобель. Гец ускорил шаг. Глаза его уже привыкли к темноте. К великому счастью, старая лошадь не скакала, а в задумчивости медленно плелась по знакомой дороге. Быть может, чувствовала, что жизнь покинула ее возницу.

И тут он увидел Гитл – лисенком она свернулась среди богатых подношений на задке телеги и сладко спала. Для тепла Гитл завернулась в медвежью шкуру, которую вытянула из мешка.

– Гитл, вставай! – толкнул ее Гец.

Когда она не отозвалась, он забрался на телегу. Он тряс ее, дергал за косу, стянул с нее шкуру.

– Гитл, вставай сейчас же! Из-за тебя мы потерялись в лесу.

Наконец раздался знаменитый рев хаззана. Лошадь испугалась и понесла. Чтобы не упасть, Гец опустился на колени, держась за бочку с пивом. Он кричал “тпру!”, но лошадь не замедляла ход.

– Х’вил ахейм! – вопила Гитл. – Х’вил ахейм! Я хочу домой!

– Прекрати орать! – крикнул Гец и скомандовал: – Вперед! Прыгаем с телеги!

– У меня болит живот. Я хочу есть. Гец, где мы?

Вместо ответа Гец покопался в мешке рядом с собой. Нащупав солонину, отхватил и себе приличный кусок. Мясо было твердое, и жевать его было трудно, губы от него щипало, однако вкус его заполнял весь рот. Дети свернулись под шкурой и принялись за еду, на какое-то время позабыв обо всем.

– Гец, – Гитл указала подбородком на мертвого возницу, – что у него над ухом?

– Не смотри.

– У него там дыра.

– Сказал тебе, не смотри.

– Но кто это ему сделал?

– Яблоки! – Гец вытащил из мешка два зеленых, мучнистых, кислых и холодных яблока. Это отвлекло внимание Гитл от мертвого возницы.

– Ты странно ешь, – заметила Гитл.

– У меня болит с этой стороны, – объяснил Гец.

– Почему?

– Потому что у меня шатается зуб.

– Когда он выпадет?

– Не знаю.

– У меня уже растут спереди... Хочешь потрогать?

– Нет. И вытри нос, противно смотреть.

– Ты не татэ.

– Сейчас татэ. Все, хватит тут с яблоками, прыгаем с телеги.

Внезапно послышался легкий удар. На бочку с пивом в телеге рухнул комок перьев с суровым стариковским лицом.

– Гецл, гиб а кук³⁰, – с опаской показала пальчиком Гитл, – а со́вэ³¹.

Желтые глаза совы светились в темноте. Серовато-белые перья топорщились. К одному из крыльев прилип сгусток смолы. Когти на тоненьких лапках скрипели по деревянной крышке бочки.

– Иди ко мне, не бойся, – тоненьким голоском проговорила Гитл, но только она протянула к сове руку, та взмыла

³⁰ Взгляни, Гец (*идиши*).

³¹ Сова (*идиши*).

вверх. – Я дотронулась! Она мягкая, Гец! Знаешь, какая мягкая? Вот такая. – И, едва касаясь пальцами его ладони, она пощекотала ее.

– Это нам знак с небес, – авторитетно произнес Гец, – Готеню хочет, чтобы мы прямо сейчас прыгнули с телеги.

– Так пусть Готеню остановит телегу, – возразила Гитл.

– Ицикл бы прыгнул! – поддразнил ее Гец.

Гитл вытаращила глаза:

– Не прыгнул бы!

– А вот и прыгнул бы!

– Нет, он не может прыгнуть, он вообще мертвый!

Пока они так спорили, телега выехала из леса на проселок.

Конец детства

Только войдя в Дыровку, лошадь замедлила ход. Дети соскочили с телеги у недостроенного тына. Бледные пузыри света, появившиеся на черном небосклоне, рисовали во мраке контуры маленьких ладных хат. Над соломенными крышами торчала башенка с крестом на верхушке.

– Это ихняя синагога, – прошептал Гец в ухо Гитл, – Ицикл там. Пошли!

Гитл бежала вслед за братом. Они ковыляли по тропинкам маленького селения и спустя недолгое время вышли к кольцу раскидистых деревьев, посреди которых горделиво стояла церковь. Прижимаясь друг к другу под прихваченной с телеги медвежьей шкурой, они беззвучно миновали несколько небольших деревянных крестов, выставших прямо из земли. Хватило и небольшой щели между створками дверей, чтобы дети протиснулись внутрь.

В молельном зале не было ни души, и он совершенно не походил на хорбицкую синагогу. Окаменевшие водопады воска ниспадали с верхушек кандил, в которых догорали свечи. Сладковато-жженный аромат щекотал ноздри. Лики на деревянных иконах подрагивали, словно дышали, их освещали масляные лампы, подвешенные на цепочках. Свод был настолько высоко, что при попытке посмотреть вверх у детей закружилась голова.

– Это Ицикл? – еле двигая губами, испуганно проговорила Гитл.

– Где?

– Там.

Над небольшой двустворчатой дверью, украшенной позолоченной резьбой и красно-зелеными чужими буквами, словно парил образ невысокого человечка, худого, грустного, со склоненной головой, разведенными в стороны руками и перекрещенными ногами.

– Все, мы его увидели, – прошептала Гитл и повернула назад, – давай уйдем.

– Это не Ицикл, – засомневался Гец, голос его подрагивал.

– Откуда ты знаешь? Ты же никогда его не видел.

– Ицикл был младенец.

– Он вырос, пока был тут, – возразила Гитл.

– Смотри, у него кровь идет, – сказал Гец.

На руках человека зияли чудовищные раны, на груди разверзлась кровоточащая дыра. Волосы спускались на плечи. Зримо выступали ребра. По обе стороны от него стояли крылатые ангелы, один розоватый, другой голубой.

– Пойдем, Гец!

– Подожди... – Гец напряг горло и позвал: – Ицикл...

Он закрыл глаза, как обычно делал его отец во время молитвы, и принялся раскачиваться вперед и назад. Какое-то время он качался, бормоча обрывки стихов из Писания. Гитл больше не решалась подавать голос, она тоже прониклась

ощущением святости.

Души дорогие, не насмехайтесь над детьми, увидевшими в образе распятого своего потерянного брата. Поразмыслив над этим, вы поймете, что в известном смысле они не ошиблись.

Когда Гец и Гитл вышли из церкви, свет уже завладел небосклоном. Решительным шагом дети устремились по тропе, ведущей к лесу. И тут тишину разорвал женский крик, перешедший в завывание. Остановившись на миг, они бегом припустили вперед. Вопль пробудил к жизни целый хор: собаки, петухи, гуси, свиньи, овцы, лошади и коровы. Животные возглашали о страшной новости – Павел вернулся от живодов бездыханным.

По некотором размышлении, не так уж мало времени заняло у жены Павла заметить дыру в голове своего мужа. Когда телега остановилась у их околицы, поначалу она, конечно, подумала, что он задремал, перебрав вина, и вместо того, чтобы попытаться его разбудить, занялась изучением привезенных мужем трофеев.

А чему тут удивляться, души, ведь близкие люди, муж и жена или, что ближе к нашей истории, мать и сын, в конце концов перестают замечать друг друга. Муж может вернуться домой с простреленным сердцем, а жена давай жаловаться ему на своего поганца-начальника. Сын может орать в постели всю ночь напролет, зовя мать, а та даже не проснется.

Мужские крики достигли слуха детей, когда они были уже

на опушке леса. Гец поторавливал Гитл, и та выбивалась из сил, стараясь бежать быстрее, но вдруг оступилась и подвернула левую ногу. Гец взбеленился и стал ругать ее, да что толку. Девочка не могла встать. Он перетащил сестру за груды сучьев, занесенную сверху землей и палой листвой, – такие обычно сооружают лесные звери, дабы скрыть вход в нору. Свернувшись на земле и укрывшись шкурой, Гитл и вправду походила на медвежонка.

– Не произноси ни звука и не выходи отсюда, пока я не приду за тобой. И не плакать!

– Не уходи, Гец.

Но двоим там было не спрятаться. Гец осмотрелся и заметил большой ясень с множеством наростов, так что было удобно вскарабкаться вверх. Когда-то из древесины этого дерева мастерили боевые луки, а в наше время из ясеня делают электрогитары. Ветки десятками рук тянулись Гецу на помощь. Вполне вероятно, что Гец забрался значительно ниже высоты лоджий, с которых современные дети безо всякой опаски взирают вокруг. Однако в том мире и такой высоты было довольно, чтобы у кого угодно закружилась голова.

Они появились со стороны деревни, в руках вилы, мотыги, серпы, и, хотя солнце уже вовсю светило, некоторые несли горящие факелы. За мужчинами увязались собаки, здоровенные зверюги, из их раззявленных пастей капала слюна. Последней шагала дородная женщина в сером платье – вне всякого сомнения, жена покойного. Она поддвывала низ-

ким голосом: “Паша... Пашка... Павел”. В один миг Гец все понял. План хорбицких мудрецов потерпел полный провал, и гои шли предать местечко огню. Один пес, черный как смоль, с приплюснутой мордой, принялся носиться вокруг груды сучьев, в глубине которой укрылась Гитл. Наконец он замер, поскреб землю и разразился отрывистым громким лаем. Еще миг – и убежище девочки будет раскрыто. Гец закричал со своего насеста, замахал руками, только бы не дать мужикам обнаружить его сестру. Крепкий невысокий парень, стриженный под горшок, первым подошел к ясеню. Он всмотрелся, недоумевая, человеческое ли существо этот комок на суку или черт. Свежеиспеченная вдова перекрестилась, мужики последовали ее примеру. Кто-то смачно харкнул на землю, другой взмахнул вилами. Воздух был свеж, свет пронизывал лес насквозь, проникая через кроны деревьев. Крепкий парень попытался залезть на ясень, но соскользнул вниз.

Гец лепетал на родном языке, единственном, какой знал, уповая на то, что мольба будет понята на любом языке. “Жид!” – процедили крестьяне с омерзением. Собаки продолжали надрываться. В полной растерянности, Гец сделал единственную вещь, которой сумел за время своей короткой жизни поразить и мужчин, и женщин, и детей. Он встал на суку на цыпочки и притянул к себе одну из гибких ветвей над собой, чтобы насадить на сучок на ней петлю у себя на загривке. Веревки ожгли его бедра, спину и плечи. От напря-

жения он вытолкал языком шатавшийся зуб из гнезда, тот выпал у него изо рта и полетел на землю. Крестьяне отпрыгнули от дерева. Один из них сделал шаг ближе и поднял молочный зуб. Он показал его остальным, и те закивали с серьезным видом. И стали подносить факелы к дереву. Давай, Гец, давай, Гец, давай.

Ноги его сорвались с сука, он стал перебирать ими в воздухе, повиснув между небом и землей. Уронив голову на грудь, он далеко высунул язык, точь-в-точь как шляпник Шмерл. Воцарилась тишина. Среди зрителей внизу все замерли, никто не пошевелинулся. Все глаза, не мигая, смотрели вверх. Не слышно было ни вдоха, ни выдоха. Сердца перестали биться. Мир застыл на месте. Только пес с приплюснутой мордой продолжал лаять. Дурной зверь. Никакого почтения к театру.

Первый, кто атаковал, оказался и первым, кто отступил. Крепкий парень быстро перекрестился и бросился прочь не взвидя света. Остальные не стали тратить время на крестное знамение и бегом удалились из-под ясеня. Чтобы еврей повесился, затянув петлю своими собственными руками, такого они сроду не видывали. Может, позже они и решат, что это замечательная идея, но в этот момент увиденное показалось им кошмарным зрелищем. Последней покинула место вдова Павла. Ее полный ненависти взгляд сделался каким-то потерянным при виде повешенного ребенка. Подобрав подбородок, она кинулась прочь.

В течение одного короткого, но прекрасного мгновенья Гец верил, что благодаря своей хитрости и смекалке он спас и сестру, и себя, и – быть может – всю Хорбицу. Но мгновение это закончилось, не успев начаться, когда мальчик понял, что все ушли, все, кроме пса с приплюснутой мордой, лай которого становился все более свирепым. Перепуганная Гитл выскочила из своего укрытия и бросилась вглубь леса. Пес погнался за ней. Гец раскачался назад, чтобы закинуть ногу на сук, с которого спрыгнул, однако петля вдруг затянулась у него на шее. Он успел издать лишь один-единственный звук “Ги...” – последний звук, слетевший с его уст.

* * *

Меня понесло. Души дорогие, теперь я понимаю, что я слишком увлекся, и прошу прощения.

Я всего лишь хотел сказать несколько слов о конце моего детства, а заставил вас топтаться среди излишних деталей: умирающие от голода нищие, горящие ямы, пуримские представления... Когда я буду рассказывать о своей юности, обещаю воздержаться от описания таких ничтожных подробностей.

Когда наступает конец детства? Когда корова, которую ты знал с рождения, собирается околеть? Когда мать дает отцу пощечину на твоих глазах? Когда ты понимаешь, зачем козел залезает на козу? Когда осмеливаешься перепрыгнуть

через горящий костер? Когда видишь мертвеца? Когда понимаешь, что и взрослые люди боятся? Когда соглашаешься поддаться своей малютке-сестре и дать ей выиграть? Когда у тебя выпадает зуб? Когда ты решаешься прыгнуть с дерева? Когда прыгаешь?

Слишком много досадных назойливых знаков! Надгробия, разговоры о смерти, ряженые, висельные веревки. В последний день моего детства, Пресвятой, да будет благословен, я повел себя как начинающий писатель. Я пытался рассказать так, чтобы вы мне поверили. Даже прибегнул к третьему лицу, а в конце... Мне уже все равно, поверите ли вы мне или нет. Я-то знаю, что это – подлинная правда.

А теперь, души, так же, как я простился с тем миром, попрошу и вас проститься с ним. Умер татэ, умерла мамэ, умерла Гитл, умер Павел, умер даже Лейзер, благословенной памяти, умерли все жители Хорбицы и Дыровки. Умерли и их сыны, и сыны их правнуков. Умер я. Живы лишь тоска и томление по ним.

Простите...

Простите, я мама Гришина. Всем привет. Я извиняюсь, что вот так вот вламываюсь в книгу, которую мой сын написал, но я не могу сидеть молча, глядя на... на... все эти выдумки, которые он... он... Он говорит, что это все правда, что это его детство, но вы же понимаете, конечно, что... Нет, я даже не возьмусь вам это объяснять, уж простите. Нет, нет и нет. Попрошу вас закрыть эту книгу. Что слышите: закройте книгу прямо сейчас. Думаете, шучу? Я говорю совершенно серьезно!

Не читайте больше, пожалуйста. Всей душой молю вас.

Ну-ка, все, раз-два, закрыли книгу да и отправили ее в помойку. Сумеете разорвать – разорвите в клочки. Сможете сжечь – сожгите. А если кто случайно у моря, то пусть в воду ее швырнет, мы, слава богу, в приморской стране живем. Я понимаю, что в книге еще страницы имеются и что вы ее купили, так пришлите мне чек, и я верну вам деньги.

Я не согласна, чтобы весь свет читал графоманию моего сыночка. Тут понаписано обо всяких интимностях нашей семьи, до которых никому нет касательства. Это моя жизнь, моя и Пети, мужа моего бывшего. Давайте-ка, все вон...

Правду сказать, у меня голова кругом идет. Руки трясутся. За окном у меня дома Яфо, но я не знаю, где я. Вот смотрю на соседкину стирку, вон она мотается на ветру, вон кон-

дей, вон бойлер, вон внизу мальчишка на электросамокате, январь, израильская зима, плюс двадцать в тени, две тысячи двадцатый год, нет, нет, нет... Это ни в какие ворота, что мой сын тут понаписал... У меня сейчас сердце разорвется.

Какая же я дура.

Почему я раньше не заглянула в его писанину!

Неделю назад я зашла в Гришину комнату, принесла ему чаю, а он сидит себе за компьютером и печатает. Барабанит со всей силы, быстро-быстро, как какой-нибудь Рахманинов на пианино. Сроду его таким не видела. Читать-то он читал много, а вот чтоб писать — не упомяну, а тут вдруг тук-тук-тук, даже головы не поднимет... И так час за часом, я ему еды принесу, а он все печатает себе, и так до самого вечера. Я на цыпочках ходила, чтобы только ему не мешать. И он всю неделю печатал. Что вам сказать... Достоевский!

Спрашиваю его: что ты там пишешь? Молчит. А чего отвечать, это ж мать спрашивает, а не кто-нибудь важный. Если ты не доктор или профессор, при Грише и рта не раскрывай. Когда он хочет, может устроить целое представление, так что всякий скажет: "Да твой сын прекрасно справляется". Конечно, справляется. А вы вот поживите с ним, тогда и скажете, справляется он или нет. А когда он вдвоем с мамой, то или вопит, словно режут его, или плачет, что твой грудничок, или, как обычно, сидит и молчит. Чужим людям от него перепадает только мед, мне же достается все дерьмо.

Что я хотела сказать? Ах да, спрашиваю его еще раз, лас-

ково: “Да что ты там пишешь, роман?” Не отвечает. Говорю ему: “Гришенька, душенька...” А он вдруг как повернется да заорет: “Марина, хватит!” Я чуть чай не расплескала.

Вышла из комнаты и думаю: разве красиво так вопить, словно людоед какой? Хочешь писать, пиши себе на здоровье, кто тебе мешает? Нет, правда, все в жизни ты уже переделал, только книгу не написал. Это я говорю с сарказмом, к сожалению, потому что Гриша ничего в этой жизни не сделал. Даже того, что все в Израиле делают. В армию не пошел, в путешествие после армии не поехал, ни университета, ни работы, ни женщины. Ничего.

А вообще, вы слышали, чтоб ребенок обращался к матери по имени? Не мама, не мамочка, даже не “има”³². Только Марина. Было время, это обижало меня, а потом я стала себя убеждать, что это как бы из уважения, как в какой-нибудь семье аристократов. Но правда-то в том, что вовсе это не из уважения. Он называет меня “Марина”, потому что имеет в виду: “Ты мне не мама”.

Двадцать один час я рожала, пока Гриша вылез из меня. Не мама... Его силком вытащили оттуда. Ни в какую не хотел. Я до сих пор ощущаю пуповину, которая связывает меня с ним. Ее перерезали, а вроде как и не перерезали. Я с ним и когда все хорошо, и когда дела у него – катастрофа. Мама всегда мама.

Ладно, слишком много я тут наговорила. Извините. Я во-

³² Мама (*иврит*).

обще хотела попросить, чтобы вы закрыли книгу, и баста.

Даже если бы я хотела поговорить, слишком много пришлось бы объяснять.

Мне важно, чтоб вы знали одно: все, что Гриша тут понаписал, — одна сплошная ложь, его детство было... Ну вот, рев. Идиотка. Взрослая женщина — и так реветь. Ну да, больно мне, что тут сделаешь. Все знают, что самые близкие люди причиняют нам самую сильную боль. А Гриша еще как знает, как надавить на бо... Минутку, вы, наверно, вообще запутались, а кто это Гриша, потому что он в своем рассказе называет себя Гец. Что это за Гец такой, я вас спрашиваю? Так хоть кого-нибудь зовут? Ну, может, кого и зовут. Я не слышала. Моего сына зовут Григорий Цирульник. Так он взял “г” из собственного имени, “ц” из фамилии, и вышло у него Гец.

И вот как его имя — выдумка, так и вся его история — фантазия, и не говорите мне, что в литературе допустима фантазия! Я достаточно книг прочитала в жизни, у нас интеллигентная семья. И не думайте, что если у меня плохой иврит, то и мозгов нет. Я отлично знаю, что такое метафора или аллегория. И сама люблю, когда писатель создает особый мир и можно войти в него, будто под одеяло забраться, и не выбираться больше. Конечно, люблю, а кто не любит? Но здесь это уже не “создает”, а просто врет и злится. Ненавидит нас всех. Что это все такое, все, что он написал? Это его детство? Я так себя с ним вела? Это что, такой у нас был дом?

Извините, это ж стыд один и наглость!

Может, кто-нибудь скажет, что я лезу не в свое дело, но мой сын, извините, – это мое дело, да еще как. И я вообще не собиралась за ним подглядывать. Дома у нас один компьютер, в Гришиной комнате, так я иногда захожу в интернет, когда он спит, – а он спит до часу-двух дня! Мне важно держать связь с подружками из класса, сегодня в России уже никого из них нет: Анна в Берлине, Леночка в Торонто, Машка жила в Париже, а теперь со своим турком, я даже не знаю где.

И вот документ его был открыт, и, поверьте мне, всякая мама, у которой ребенку тридцать девять лет, и он живет с ней, и состояние у него как у Гриши, психическое и физическое, – любая такая мама отлично поймет, чего я сунула туда свой нос.

Сперва я сказала себе: ну это он сказку написал. Как Андерсен. Но капля по капле – доложу вам как на духу – это разбило мне сердце. Я не больно хорошо знаю иврит, но поняла. Досконально все поняла, можете мне поверить. Я бы своего сына поняла, пиши он хоть по-японски. Он там понаписал о маме, которая страшнее ночи, маме, которая раздает пощечины направо и налево. А я за всю жизнь только разочек дала ему пощечину. Ну, может, два. И поделом ему! А как он пишет об отце... Артистическая душа, а?! Да кто его обихаживает все эти годы, артист этот?! Только мама. Вот кто. Папа его развеялся, как дым от сигареты. Вот поэтому

я и прошу вас закрыть книгу. Нельзя поощрять его. А то он ведь и дальше будет выдумывать. А люди будут верить. Поверят, что он такой. Что я такая. А я не такая, и он не такой. Если какая-нибудь мама читает меня сейчас, то будет неплохо, если ты первая закроешь книгу. Покажи всем пример. Пример солидарности. Представь, что это твой сын так о тебе пишет. Чем я только не пожертвовала для этого ребенка. Когда приехали в Израиль, на трех работах вкалывала...

Извините, меня снова занесло во всякие интимности. Просто мне не с кем поговорить.

А вы что думали, Гриша первый, кто изобрел одиночество в этом мире? Не первый. А я вообще не из тех, у кого рот целый день нараспашку.

На иврите я говорю только в экстремальной ситуации, вот как сейчас, потому что неприятно делать много ошибок. Я работаю смотрительницей в Тель-Авивском музее, так там все девчонки разговаривают по-русски. Как раз дома у меня значительно тише. В музее – жизнь. Картины – это жизнь. Когда люди приходят в музей, у них хорошее настроение. Есть такие, что ходят взявшись за руки. Люди в годах тоже. Мне это нравится. Есть и школьники. Некоторые шумят, носятся, но есть и такие, которые всматриваются вглубь картины. На это мне тоже нравится смотреть. И много таких, кто приходит в одиночку. В музей не странно прийти одному. Я видела одну девушку, красивую-красивую, она ходила, смотрела, а все остальные, вместо того чтобы смотреть на карти-

ны, смотрели на нее, а она ноль внимания.

На меня-то уже не засматриваются. Иногда задевают стул, на котором я сижу, потому что не замечают меня. Ничего страшного. Мне-то ведь хочется самой смотреть, а не чтобы на меня смотрели.

Когда Гриша был моложе, я боялась оставлять его одного. И работала в музее три часа в смену, не больше. Теперь он спит до полудня, так что я спокойно работаю в утренние смены. Даже если возвращаюсь после четырех, беспокоиться нечего. Он сидит себе, глядя в окно, только головой поводит, влево, вправо, как птица. Так что теперь я работаю пять дней в неделю. И денег больше, и для души удовольствие.

На картины почти и не смотрю, потому что я их все уже наизусть выучила. Я уже сама как музейная картина. Будто вишу на стене. Может, это и хорошо. Может, это помогает мне держаться на плаву. Когда я была маленькая, мы называли смотрительниц в музее “бабушками”, теперь я сама “бабушка”, и другой бабушкой мне не быть. Потому что Гриша – мой единственный сын, а он не женится никогда, это уже ясно. И не сделает детей. Не сделает меня бабушкой.

Простите. Извините меня. Что я вам морочу голову... Я вообще не хотела говорить о себе. И о Грише не хотела, хотела только попросить вас закрыть книгу.

Давай-давай, все вон. Финита ля трагедия.

Вы, верно, думаете, что даже если закроете книгу, это ничего не изменит, все уже написано. Может, скажете, книга

уже на прилавках книжных магазинов. Даже если найдется в мире имбецил, который напечатает эту графоманию о жизни другого человека, – вы можете это остановить. Если вы это не прочтете – оно исчезнет. И перестанет существовать, как будто никогда и не было.

Сколько биографий исчезло, а с ними и люди, о которых они были написаны. Где все греческие драматурги, которые исчезли? Все бездарные писатели, о которых никто и не знает, что они вообще появились на свет? Такова природа эволюции: кто слаб – тому капут. А Гриша мой слаб. Что поделать. Я пыталась сделать его сильным, но есть вещи, которые и маме не по силам. А ведь был такой умный ребенок, такой красивый. Когда смотришь на ребенка, никогда не знаешь, что из него выйдет.

Знаете что...

Покамест Гриша все еще дрыхнет тут рядом со мной – я же вам объяснила, компьютер-то в его комнате, – я, пожалуй, выкурю сигаретку да и расскажу вам, какое на самом деле у него было детство. Только коротко. Как сигарета закончится, мы все сразу закрываем книгу. И я, и вы. Лады?

Значит так, секунду.

Если кто курит, тоже может взять сигарету. Да, это вредно, но иногда можно заделаться больным, если не покурить. И не беспокойтесь, Гриша от дыма не проснется. Вся его комната вечно в дыму. Будто туча стоит в комнате. Я-то уже привыкла. И стук по клавише ему тоже по барабану. Я только возьму

сигарету из сумочки на кухне – и сразу обратно.

А вы пока что книгу-то не закрывайте, ладно? Спасибо.

Знаете, я вот сейчас зашла снова в Гришину комнату, а он такой звук издал, что я подумала – просыпается. Он во сне вечно с кем-то воюет. Мне на него тяжело смотреть на такого. Когда спит, он больше дергается, чем когда бодрствует.

Значит, так, вот я зажигаю сигарету. Как она закончится, и я закончу рассказывать. Поехали.

Сразу надо сказать: когда Гриша родился, я так в него и влюбилась. Это было в восемьдесят первом. У него были огромные глаза, синие. Синие – это в меня, потому что у папаши его глаза цветом как асфальт. Пальчики были маленькие, кукольные. Волосики гладенькие, светлые, не то что этот частокол сегодня вокруг его лысины. Я сунула ему в ротик палец, и он стал сосать, было приятно. Когда он родился, я еще не знала, кто это. Еще не успела узнать его. Но сразу себе сказала: этот мальчик будет профессором. Что ни пожелает – все исполнится. Ошиблась.

У меня есть Гришино фото, там он маленький, зимой, в шубке и шапке, закрывающей уши. Щечки красные, ему холодно, а глаза улыбаются, и ротик разинул. Я на нее смотрю иногда. Никогда и не скажешь, что это тот же человек.

Каждый из нас меняется, а особенно мы, после того как уехали из своей страны и стали новыми репатриантами. Мы говорили на другом языке, у нас были другие прически, дру-

гая одежда, обувь, еда, иные песни, мы по-другому пахли и даже плакали иначе. Что тут сказать? Это все так, верно. Но это психология, никакая не мистика, в конце концов, мы – это мы, разве нет?

Иногда наше тело упорно хранит в себе то, что было раньше. Есть у меня история для примера. У нас там был бассейн “Москва”, на Кропоткинской, рядом с Пушкинским музеем. Бассейн под открытым небом. Температура воздуха – ноль, а в воде тепло, как в самоваре. А до того, как построили бассейн, там стоял собор – храм Христа Спасителя. Это при Советах все изменили. Вместо старого Бога сделали нового – Сталина. Однажды я видела пожилую женщину, так она вышла из бассейна и стала пятиться задом к двери душевой, потом перекрестилась незаметно и чуть поклонилась, чтоб никто не заметил. Как будто это не нынешний бассейн перед ней, а собор, что был когда-то. Если вы спросите меня, так это и есть настоящее перевоплощение, которое случилось в нашей жизни. Жалко, что Гриша не пишет об этом, если уж взялся делать ретроспективу своей жизни.

Ладно, сигарета моя кончается, я тут морочу вас философией. Я просто хочу превратить для вас Гришины фантазии в реальность.

Относительно места. Я не знаю, что это за Хорбица. Название ничего не значит³³, да и нет такого места на земном шарике, я проверяла в Яндексe. Мы жили в Москве, но Гри-

³³ На иврите название Хорбица “говорящее”: хор – дыра, бица – болото.

шин папа, мудрец великий, вечно говорил, что Москва – это большая деревня, может, поэтому Гриша пишет, что родился в местечке.

Относительно времени, ему понятно, что Гриша не рос в семнадцатом веке, потому что ему тридцать девять лет, а не триста девяносто. Когда он говорит “последний день моего детства”, он имеет в виду последний день перед нашим отъездом в Израиль. Верно, ему и вправду было тогда девять лет, я вам точно скажу, когда это было – в феврале девяностого.

Мы жили в маленькой квартирке в Бибирево, в Москве, кто знает – знает, что это, кто не знает – невелика потеря. Жили мы – я, Петя и Гриша и еще моя мама, мир праху. Пока мама к нам не переехала, она жила в Шкаровке, маленькой деревне близ Белой Церкви. Каждое лето мы ездили туда на поезде. Гриша быстро-быстро лазал по деревьям и приносил нам *шелковицу*, как же это на иврите...

Такие ягоды, черные, сладко-кислые мы из нее варенье варили. Такой вкусотищи уже никогда нигде не будет. Потом у мамы стали болеть ноги, да и вообще она постарела и сдала, так что мы забрали ее к себе.

Страшно некрасиво, что Гриша написал о ней, как будто она больная корова. Смотрите, она была не очень-то симпатичная, но, как бы то ни было, не скотина же или что-нибудь в этом роде. И при аллегории немного такта не помешает. И не подумайте, что я ее не критиковала. Например, мама

любила моего бывшего больше, чем любила меня. Петя, бывало, зайдет к ней и спросит: “Как поживаете, Ирина Федоровна?” А она вскинет голову, точно балерина в Большом: “Жива еще, Петенька, спасибо. Не забудь шарфик, на улице холодно”.

Он, довольный, уходит из дома, а мне с ней весь день. Помыть ее, проследить, чтоб приняла лекарства, “Что еще тебе дать, мама, чего тебе хочется?”. Потом смотрим вместе “Санта-Барбару” по телику. А она меня не отпускает даже в туалет сходить, а мне еще готовить надо, убирать, да просто жить. А возле ее кровати стоит урна с... как его?... ну, с тем, что от папы осталось, когда его кремировали. Раз я ее уронила, ой что тут началось. Во МХАТе такой драмы не видавали. А ведь ничего и не было, папа не высыпался. Я сказала маме: “Папа же инженер, он не верит, что его душа в урне”. Но мама с возрастом ударилась в мистику. Я даже думаю, что это от нее у Гриши вся эта любовь к мистическому.

Тогда было непростое время в Советском Союзе. В магазинах дефицит, с трудом консервы достанешь, мы стирали полиэтиленовые пакеты и вешали их на веревку сушиться. Может, поэтому Гриша пишет, будто в его детстве был голод. Но извините меня... Гриша что, голодал? С какой стати? Да я от себя отнимала, лишь бы накормить его.

И тогда Петя загорелся идеей уехать в Израиль. Сказать по правде, я не слишком-то обрадовалась. Я не еврейка. И я не понимала, как мы возьмем с собой маму в таком состоя-

нии. Можно посадить в самолет человека, который с трудом до туалета доходит? Я сказала Пете, что надо относиться к маме с уважением, дать ей умереть спокойно. А она, вместо того чтобы умереть, стала душу из меня вынимать. Не хочу говорить о ней ничего плохого. У нее была нелегкая жизнь.

А кому было легко? Мне, что ли? Расскажу вам кое-что, только потому, что Гриша уже написал это в своей книге. До Гриши у меня и вправду был ребенок, его называли Исаак, в честь Петинного папы, Исаак – это Ицхак, поэтому Гриша и говорит “Ицикл”. Он умер, до полугода не дожил. Очень слабенький был. Я повесила на стенку его черно-белую фотографию, на ней было видно, что он худой как скелет. Трагедия. Хотя я уже и не знаю, что больше трагедия – умерший ребенок, как Исаак, или живущий ребенок, как Гриша, которому вот-вот сорок стукнет.

Да, и еще одно: сестры у Гриши нет и никогда не было. Была у него кузина, Галина. Может, из-за этого он выдумал для нее такое красивое имя – Гитл. Галя – дочка брата моего мужа. Они жили на пятом этаже, над нами. В России нет многодетных семей. Поэтому по-русски вместо “кузина” говорят *сестра*. Это как бы сближает семьи. Вот поэтому-то Гриша и написал, что у него есть сестра. Это правда, что когда мы уезжали в Израиль, Галине было семь лет и у нее не было передних зубов. И она всегда приговаривала “др-др-др, гр-гр-гр”, это упражнение ей логопед прописал, потому что она не выговаривала звук “р”.

Очень многое в этой Гитл от меня. Гриша все путает. Может, из-за Хаима Нахмана Бялика, национального поэта Израиля, который написал: “Возьми меня под свои крылья и будь мне и мамой, и сестрой”. Вот Гриша и перепутал маму и сестру. А у него нет сестры, только мама. И кстати, этот израильский национальный поэт, чтоб вы знали, вообще родился под Житомиром, на Украине. Теперь-то вы понимаете, что Гришины мозги пишут не то, что было. Вот и хронология у него не всегда верная. А может, он и не путается, а просто привирает. Он и в детстве был вруном.

Однажды Галя пришла и плачет, показывает на руке след зубов от укуса. Спрашиваем ее: “Откуда это, Галя?” А Гриша не дал ей ответить, быстро сказал: “Это ее собака во дворе укусила”. Но мы-то сразу поняли, что это Гриша укусил.

Ладно, я морочу вам голову, а сигарета вот-вот догорит.

Петя начал учить иврит и Гришу стал учить, а у меня не иврит был в голове, а только мамины больные ноги, и ничего другого. А Петя приклеил на лампу бумажку со словом “менора”, на холодильник – со словом “мекаре́р”, так я ему сказала: “Ты себе на лоб наклей слово «фантазер», потому что это ты и есть, если думаешь, что тебе разрешат выехать в Израиль”, тогда было много отказников, тех, кого не пускали в Израиль.

Но Петя заладил свое: “Израиль, Израиль. Израиль”. Выправил все документы, визы. Стал ходить в синагогу. Я ему говорю: “Петь, что инженеру делать в синагоге?” Но он знай

себе ходит в синагогу, встречается там со всеми, кто хочет эмигрировать в Израиль, они это называли репатриация, возвращение на историческую родину. Принес оттуда календарь с картинками Иерусалима, пальм, моря, девушек с этими весенними пятнышками на лице, как же их называют? Веснушки!

И вот настал последний день перед отъездом. Была жуткая суматоха. Петя отправил все наши вещи морем, в контейнере. Много книг раздали приятелям, соседям, коллегам. Я думала: вот Гоголь побывал на Святой земле и ему не понравилось, так зачем тащить его туда обратно? И еще я боялась, что ничего не дойдет. Дом у нас выглядел как после погрома. Оборванные обои, пустые шкафы. Все вещи мы или послали морем, или продали. Только в маминой комнате оставили все как было, чтобы не было у нее стресса и она не закатывала скандалы. Да и кто купит ее поломанный шкаф и старую кровать? Сосед наш, Павел Васильич, согласился забрать телевизор из ее комнаты только после того, как мы улетим. Даже занавески не стали снимать, слишком много пыли.

Чемоданы перевязали веревками, чтобы ничего не украли по дороге. Старые сапожки я продала соседке. Все кольца, сережки, жемчуг, что передавались в семье по наследству, я решила надеть на себя и на маму, в уши, на шею, на пальцы, прям как цыгане. Выставили за дверь все Петины поделки по дереву. Все началось с моего папы, мир праху. Он вырезал

ножом из дерева разные вещи, домики маленькие, зверушек, людей – просто фантастика! Это было его хобби, но в Шкаровке в очередь вставали, чтобы купить у него эти поделки. Когда мы с Петей только поженились, папа подарил ему специальный резец для работы по дереву. Петя попробовал что-то вырезать, но у него не ахти как получалось. И когда мама к нам переехала, то все ругалась: “Что это у вас по всему дому расставлено, что твои надгробия!” Вот это и есть то, что Гриша пишет, что его папа и бабушка делали надгробия. Начинаете смекать? Жизнь, она всего одна, а все остальное – метафора.

Короче говоря (я вот говорю “короче”, а получается ох как длинно), в то утро Гриша все время ныл, что у него шатается зуб, никак не выпадет. Я приготовила узел: старую Петину дубленку и несколько яиц, что у нас осталось, жаль было, что пропадут. И сказала Грише: “Бери Галю и идите отдайте это Тутаю”, это наш дворник-татарин. “Дворник” будет на иврите... как же это говорят? Словом, человек, который убирает двор. У него было две собаки, один большой пес, вечно грязный, с шерстью, что твой мех, а другая – маленькая сучка, худая и гладкошерстная. Может, поэтому Гриша там рассказывает о козле и козе. Я уж и не знаю, что все это, не хочу вдаваться в Гришины перверсии.

Тутай-татарин заканчивал подметать двор и усаживался на лавочке со своими приятелями беспроблемными. Они курили папиросы, разглагольствовали о чем-то философ-

ском и пили водку. Петя говорил, что они слабые люди. А я теперь думаю, лучше мне было бы выйти замуж за Тутая, вместо Пети.

Когда Гриша с Галей спустились во двор, я зашла к маме. Заметила, что она растерянна и мало что понимает. Тут я ей и говорю: “Мама, мы сейчас уезжаем в Израиль”. А мама в ответ: “Что? Где? Когда?” Я ей снова говорю: “Сегодня вечером уезжаем в Израиль”. А она снова: “Что? Где? Когда?” Я уже кричу: “Мама, ты меня убиваешь! Я с Петей, и Гриша, и ты...” А она мне: “Что ты кричишь, Мариночка? Я смотрю передачу «Что? Где? Когда?»”.

“Что? Где? Когда?” – это такая интеллектуальная телеигра; все, кто жил в России, были фанатами этой передачи. Я смеюсь, целую маму, прошу прощения. Она говорит: “Ну хватит, будет тебе”. Мы сидим и смотрим передачу. И мама берет меня за руку. Она была уже очень слабая. Говорит мне: “Побудь со мной, Мариночка!” “Я с тобой, мамочка, – отвечаю я, – я с тобой”.

Правду сказать – вот я это все рассказываю, и мне самой это кажется какой-то литературой или чем-то из другого мира. Но это то, что было. Именно так и было. Эмиграция, может быть, больше всего походит на то, что Гриша называет “перевоплощение”.

Гриша с Галей вернулись от Тутая домой и уселись на зеленой раскладушке, на которой Гриша спал. Галя была готова расплакаться, оттого что мы уезжаем в Израиль. Очень

уж она любила Геца... Тьфу, что это я несу, совсем уже за-
рапортовалась. Очень уж любила Гришу. Попросила его за-
плести ей косу, а он не захотел. Так они и сидели молча на
раскладушке, глядя на обои.

У нас в большой комнате были фотообои во всю стену,
лесной пейзаж. В одном месте обои порвались, и я закрыла
дыру, повесив там сову из макраме. Сама ее связала, сову
эту. Эти две вещи тогда были в самой моде – фотообои и
макраме. И Гриша с Галей сидели, и смотрели на это, и пред-
ставляли, будто это взаправдашний лес. И будто настоящая
сова.

Семь часов, Пети нет, восемь вечера, Пети так и нет. В
полдевятого наконец вваливается, да не один, а со всеми сво-
ими новыми друзьями по урокам иврита, которые собира-
лись уехать в Израиль вслед за нами. Мы с Петей сказали
себе, что не будем устраивать проводы, – боялись, что нас
загребет милиция и нам не дадут выехать из России. Как я
на него разозлилась!

А он мне говорит – здесь все евреи, все товарищи, и сует
мне в руку бутылку “Столичной”. Все мужчины достали из
карманов кипы и надели на голову. А молоденькая девушка
с черными глазами и вот таким носом говорит мне, мол, ка-
кая ты красивая, да какой Петя симпатичный, и, дескать, вы
скоро будете в Иерусалиме.

Мама кричит мне из комнаты: “Марина!” Я в ответ кричу:
“Минутку, мама!” И говорю всем: “Добро пожаловать, толь-

ко у нас ничего нет, даже чая нет, даже яйца я все Тутаяю отдала, пока не протухли”.

“Не беспокойся”, – говорят мне и достают из сумок консервы: кильку в томате, и шпроты, и сайру, а еще сервелат, и квашеную капусту, и еще несколько бутылок “Московской”, и торт “Нежность”, короче – праздник!

Но я еще не отошла от злости на Петю, что он мне не сказал о том, что люди придут, и сделал все как всегда – будто он сам по себе семья. Эгоцентрик.

Я открываю *форточку*, это такое маленькое окошко в большом окне. Расстилаю в кухне на полу занавеску вместо скатерти, стол-то мы уже продали соседям. Кто-то усаживается на пол, кто-то стоя курит папиросы “Беломорканал”, выдыхая дым в форточку. Играют на гитаре, поют песни на иврите, в которых я не понимаю ни слова. В доме нет кушетки, нет шкафов, нет ничего, и из-за этого отличная акустика, звуки отражаются от стен. Я говорю: “Может, потише, соседи услышат”, мне наливают водки и говорят: “Гит Пурим!” Я до того не знала, что это – Пурим. Мне объяснили, что это праздник, так и я выпила и сказала: “Лехаим, гит Пурим!”

Я подумала, если это праздник, то надо и Грише повязать галстук, чтобы выглядел по-праздничному. А он ни в какую. Кричит: “Мне воздуху не хватает, и зуб шатается!” Я сержусь и говорю: “Хватит, ты уже не маленький!”

А человек с гитарой прекращает играть и говорит мне: “Мариночка, ты чего так злишься?” (Что это еще за “Мари-

ночка”? Мы только познакомились.) И тогда он говорит Грише: “Как тебя зовут?” Гриша отвечает: “Гриша”. А человек говорит: “Гришенька, почему ты плачешь?” А Гриша отвечает: “Мама хочет надеть мне галстук, а я не хочу”. А человек говорит: “Ты прав, мама и вправду не должна надевать на тебя галстук – ты должен надеть сам!” Вот так он его и запутал. А Гриша говорит: “Но я не умею сам”. А человек говорит: “Сколько тебе лет?” Гриша отвечает: “Девять”. А человек ему: “Девять – это почти мужик, через четыре года бар-мицва!” Что это, мы тоже не знали. А человек поучает его: “Так кладут галстук на шею, а вот так завязывают”. Развязывает и завязывает снова: “Вот так накладывают, а так завязывают”.

И Гриша кричит Гале: “Смотри, я сам завязываю галстук!” А она делает большие глаза, мол, какой ты молодец. Галина шепчет мне на ухо: “Гриша будет в галстукe, когда мы поженимся”. Но все слышат и смеются.

И вдруг, из-за шума у нас, в дверь стучит сосед, Павел Васильич. Это тот, что у Гриши “гой Павел”, даже имя ему не изменил. Всем дал другие имена, и только Павел остался Павел. Я говорю: “Здрасьте, Павел Васильич, извините за шум”. А он говорит: “Что ж плохого в шуме, вся жизнь – шум. Только мертвые не шумят”. И заходит. Девушка говорит ему: “Выпьте с нами водки? У нас сегодня Пурим”. А он русейший человек. И спрашивает: “А что такое Пурим?” Девушка говорит в ответ: “Это такой еврейский праздник,

когда пьют много водки”. И Павел Васильич говорит: “Коли так, у меня и вчера был Пурим”. И все смеются и пьют.

И толстый человек в очках, с бородой и кипой на голове, рассказывает историю Мордехая и Эстер. По сей день ее помню. Очень красивая история. Он сказал, что Сталин был злодеем Аманом нашего времени. Для меня это все было чистой экзотикой. Мы сидели и слушали его рассказ, и в доме было жарко, как если бы в Израиле в августе, а не в феврале в Москве. Пока мама не закричала из своей комнаты и не вспомнила что-то о “Что? Где? Когда?”. Может, поэтому Гриша пишет в книге о своем детстве, что меня не было на пуримском представлении. А я как раз была! Только ходила от мамы в кухню и из кухни к маме.

Мама спросила, что это за шум там, – мол, вы что, хотите в могилу меня свести? Сейчас милиция придет, ну-ка, выстави всех за дверь. А я была на взводе из-за нашего отъезда и сказала: “Поспи, мама, поспи, у нас самолет рано утром”. А она говорит: “Ты рада, только когда я сплю. Езжайте сами в Израиль, пусть у вас будет хорошая жизнь”. А я ей говорю, тихо так: “Не устраивай скандала сейчас!” А она мне: “Мариночка, ты пьяна, от тебя разит перегаром”, а я только рюмку-то и выпила или две! Она знает, как мне устроить небо с овчинку. Я оставила ее в постели и вернулась на кухню, а там такое увидела, что подумала, что прям сейчас умру.

Минутку.

Ой.

Сигарета-то давно догорела, а я так ничего и не рассказала. Пишу себе и пишу, да и позабыла, о чем мы условились. Я мало разговариваю с людьми, но уж если раскрыла рот, то...

Может, еще одну сигарету, и хватит? Еще одну, и все, потому что остался самый конец истории. А после закрываем книгу и больше уже не открываем, лады? Хорошо, хорошо. Я только прикурю...

Короче, возвращаюсь я на кухню и вижу там женщину, которую раньше не видела. Некрасивая такая. И она поет себе и пляшет. А я будто и знаю ее, и не знаю. Но платье-то я точно узнаю, это мое платье! И тут я понимаю, что это не женщина, это Петя, обривший бороду и надевший мое старое платье.

И когда он только успел? Надо думать, пока я была с мамой, время остановилось. А Петя и говорит: “Я решил, что приеду в Израиль без бороды. Петя, что был прежде, – умер. К тому же в Израиле жарко, борода – лишняя”.

“Ненавижу это”, – сказала я Пете. “А мне нравится!” – отвечает. В этом весь Петя, ему все равно, что его любят. Важно только, что он сам себя любит. Как я уже сказала, эгоцентрик. А для меня, извините, это было как измена. Я замуж выходила за человека с бородой. И мне не нужна вдруг младенческая попка перед глазами.

“Ты и платье будешь носить в Израиле?” – спрашиваю его. Все смеются, а Петя громче всех. Тут я подошла к нему и влепила ему такую пощечину – лишь бы утих. А Гриша сразу

заплакал.

А Петя объясняет: “Я надел платье, чтобы нарядиться в царицу Эстер. В Пурим всегда так: мужчина наряжается женщиной, женщина переодевается в мужчину – опрокинутый мир. Ради смеха”. И все повторяют мне вслед за ним: “Это только ради смеха. Пойдем, выпей водки и возьми кусок тор-та”.

Торт “Нежность” выглядит как стопка листов из теста, а между ними прослойка из шоколадного крема. Деликатес. Вкус, по которому я и сегодня скучаю. Можно и дома испечь, но это будет совсем не то. Да и для кого его печь, для Гриши? Это нынешний Гриша, а не тот Гриша, который был раньше, – этому все равно, что он пихает в рот, черную икру или кусок картона.

Так вот, мы сидим на полу, поем, разговариваем, и вдруг – стук в дверь. Я подумала: все, теперь это наверняка милиция, но это оказался Петин брат с женой, родители Гали. Братец был ростом с табуретку, жена его – размером с буфет. И притащили с собой электрический самовар в подарок, чтоб мы взяли его в Израиль. Я сразу подумала, что это идиотская мысль: кому нужен электрический самовар в азиатской стране? Петя налил в самовар воды и включил в розетку, и я подумала: отлично, теперь мы оставим его здесь.

То, что стали пить чай, не значит, что перестали пить водку. Но тогда у нас еще умели пить, так что все были не то чтобы пьяные, а так – навеселе. Парень с гитарой спел песню

“Звезда по имени Солнце” знаменитой тогда группы “Кино” с Виктором Цоем. И я пела. Это все из тех воспоминаний, которых уже почти ни у кого не осталось.

Тут вдруг Петя как закричит: “Снег, снег!” Все захотели спуститься во двор. Я сказала: “Гриша не пойдет вот так, в нарядной одежде, все уляпает грязью, да и холодно – еще заболееет”. Но Петя говорит: “Мариночка, это же наш последний снег!” И берет Гришу за руку и бежит на улицу, и все – вслед за ним.

Я не пошла с ними. Осталась с мамой. Гриша сказал, что принесет мне немного снега в руках. Вы поняли? Вот какой он ребенок был, золото, а не ребенок. “Все ушли?” – спросила меня мама. Я сказала: “Да”. И она сказала: “Слава богу”.

Я выглянула из окна во двор. Медленно падал белый снег. Дети, да и взрослые тоже, разевали рты, пытались поймать снежинки на язык. Я смотрела на них, как в беззвучной хронике, потому что у нас были двойные стекла, а открывать окно я не хотела, чтобы мама не начала снова ругаться, что я напускаю холод. Она тем временем задремала. Или прикинулась, что задремала. Я не стала проверять.

Они принялись прыгать через костер, который развел Тута́й вместе со своими татарскими друзьями. Потом Петя – без бороды он выглядел совсем мальчишкой – бросил снежок в черноглазую девушку, и все стали играть в снежки. Думаю, что именно в этот момент я поняла, что больше не люблю Петю. В моем сердце не осталось никакого чувства

к нему.

Павел-сосед бросил снежком в Гришу, а тот, вместо того чтобы возликовать, начал плакать. Даже и не знаю, что с ним стряслось, что он весь день то и дело плакал. Сколько слез может быть у такого маленького мальчика? Павлу было неприятно, что ребенок плачет, так что он сказал Грише: “Теперь ты брось в меня”. Гриша не хотел, тогда Петя сказал ему: “Твоя очередь, кинь в него снежок, со всей силы, чтоб знал наших!” Все это я наблюдала сверху, как пантомиму. Я отлично знаю все Гришины движения, так что поняла, что он не хотел кидать.

Тогда Петя и все его еврейские друзья принялись бросать снежки в Павла. И когда Павел оказался перед Гришей с Галей, Петя закричал так громко, что даже мне было слышно: “Ну давай же, со всей силы!” В конце концов Гриша взял снежок в руку и бросил в Павла, и как раз в этот миг Павел вдруг упал в снег. Словно умер. Какой идиот. Он был пьян в стельку. А Гриша снова испугался и зарыдал. Петя с братом подняли Павла, но тот опять упал. И тут черноглазая девушка показывает вверх, на окно нашей кухни, и что-то кричит.

Я оборачиваюсь, там ничего нет. Мама в глубине квартиры. Вдруг резкий запах дыма. Интересно, что я не услышала, а увидела его, как если бы вся была одни глаза, без носа. Открываю дверь. *Господи божье мой...*

Невозможно выйти. Я поспешила закрыть дверь. Распахнула окно.

Ладно, нельзя все рассказать по минутам. У нас в кухне начался пожар из-за электрического самовара... Знала же, что это плохая идея. Сколько же проклятий я могла исторгнуть тогда, но все по-русски. На иврите их и написать нельзя, потому что все выходит слишком благонаравно. Разве сравнишь, пардон, дерьмо, навоз и сукина сына с уродищем с *“тварью, скотиной паршивой”*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.